

Антон Павлович Чехов

Повести и рассказы

Оглавление

| | |
|-------------------------|----|
| КРЫЖОВНИК | 2 |
| ИОНЫЧ | 7 |
| ЕГЕРЬ | 18 |
| О ЛЮБВИ | 21 |
| ДАМА С СОБАЧКОЙ | 26 |
| ОГНИ | 36 |
| ГОРЕ | 56 |
| СКРИПКА РОТШИЛЬДА | 59 |
| ВОЛОДЯ..... | 65 |
| ВРАГИ..... | 73 |
| ДЕНЬ ЗА ГОРОДОМ | 81 |
| ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ | 85 |

КРЫЖОВНИК

Еще с раннего утра всё небо обложили дождевые тучи; было тихо, не жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни, когда над полем давно уже нависли тучи, ждешь дождя, а его нет. Ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин уже утомились идти, и поле представлялось им бесконечным. Далеко впереди еле были видны ветряные мельницы села Мироносицкого, справа тянулся и потом исчезал далеко за селом ряд холмов, и оба они знали, что это берег реки, там луга, зеленые ивы, усадьбы, и если стать на один из холмов, то оттуда видно такое же громадное поле, телеграф и поезд, который издали похож на ползущую гусеницу, а в ясную погоду оттуда бывает виден даже город. Теперь, в тихую погоду, когда вся природа казалась кроткой и задумчивой, Иван Иваныч и Буркин были проникнуты любовью к этому полю и оба думали о том, как велика, как прекрасна эта страна.

— В прошлый раз, когда мы были в сарае у старосты Прокофия, — сказал Буркин, — вы собирались рассказать какую-то историю.

— Да, я хотел тогда рассказать про своего брата.

Иван Иваныч протяжно вздохнул и закурил трубочку, чтобы начать рассказывать, но как раз в это время пошел дождь. И минут через пять лил уже сильный дождь, обложной, и трудно было предвидеть, когда он кончится. Иван Иваныч и Буркин остановились в раздумье; собаки, уже мокрые, стояли, поджав хвосты, и смотрели на них с умилением.

— Нам нужно укрыться куда-нибудь, — сказал Буркин. — Пойдемте к Алехину. Тут близко.

— Пойдемте.

Они свернули в сторону и шли всё по скошенному полю, то прямо, то забирая направо, пока не вышли на дорогу. Скоро показались тополи, сад, потом красные крыши амбаров; заблестела река, и открылся вид на широкий плес с мельницей и белой купальней. Это было Софьино, где жил Алехин.

Мельница работала, заглушая шум дождя; плотина дрожала. Тут около телег стояли мокрые лошади, понутив головы, и ходили люди, накрывшись мешками. Было сыро, грязно, неудобно, и вид у плеса был холодный, злой. Иван Иваныч и Буркин испытывали уже чувство мокроты, нечистоты, неудобства во всем теле, ноги отяжелели от грязи, и когда, пройдя плотину, они поднимались к господским амбарам, то молчали, точно сердились друг на друга.

В одном из амбаров шумела вейлка; дверь была открыта, и из нее валила пыль. На пороге стоял сам Алехин, мужчина лет сорока, высокий, полный, с длинными волосами, похожий больше на профессора или художника, чем на помещика. На нем была белая, давно не мытая рубаха с веревочным пояском, вместо брюк кальсоны, и на сапогах тоже налипли грязь и солома. Нос и глаза были черны от пыли. Он узнал Ивана Иваныча и Буркина и, по-видимому, очень обрадовался.

— Пожалуйте, господа, в дом, — сказал он, улыбаясь. — Я сейчас, сию минуту.

Дом был большой, двухэтажный. Алехин жил внизу, в двух комнатах со сводами и с маленькими окнами, где когда-то жили приказчики; тут была обстановка простая, и пахло ржаным хлебом, дешевой водкой и сбруей. Наверху же, в парадных комнатах, он бывал редко, только когда приезжали гости. Ивана Иваныча и Буркина встретила в доме горничная, молодая женщина, такая красивая, что они оба разом остановились и поглядели друг на друга.

— Вы не можете себе представить, как я рад видеть вас, господа, — говорил Алехин, входя за ними в переднюю. — Вот не ожидал! Пелагея, — обратился он к горничной, — дайте гостям переодеться во что-нибудь. Да кстати и я переоденусь. Только надо сначала пойти помыться, а то я, кажется, с весны не мылся. Не хотите ли, господа, пойти в купальню, а тут пока приготовят.

Красивая Пелагея, такая деликатная и на вид такая мягкая, принесла простыни и мыло, и Алехин с гостями пошел в купальню.

— Да, давно я уже не мылся, — говорил он, раздеваясь. — Купальня у меня, как видите, хорошая, отец еще строил, но мыться как-то всё некогда.

Он сел на ступеньке и намылил свои длинные волосы и шею, и вода около него стала коричневой.

— Да, признаюсь... — проговорил Иван Иванович значительно, глядя на его голову.

— Давно я уже не мылся... — повторил Алехин конфузливо и еще раз намылился, и вода около него стала темно-синей, как чернила.

Иван Иванович вышел наружу, бросился в воду с шумом и поплыл под дождем, широко взмахивая руками, и от него шли волны, и на волнах качались белые лилии; он доплыл до самой середины плеса и нырнул, и через минуту показался на другом месте и поплыл дальше, и всё нырял, стараясь достать дна. «Ах, Боже мой... — повторял он, наслаждаясь. — Ах, Боже мой...» Доплыл до мельницы, о чем-то поговорил там с мужиками и повернул назад, и на середине плеса лег, подставляя свое лицо под дождь. Буркин и Алехин уже оделись и собрались уходить, а он всё плавал и нырял.

— Ах, Боже мой... — говорил он. — Ах, Господи помилуй.

— Будет вам! — крикнул ему Буркин.

Вернулись в дом. И только когда в большой гостиной наверху зажгли лампу, и Буркин и Иван Иванович, одетые в шелковые халаты и теплые туфли, сидели в креслах, а сам Алехин, умытый, причесанный, в новом сюртуке, ходил по гостиной, видимо, с наслаждением ощущая тепло, чистоту, сухое платье, легкую обувь, и когда красивая Пелагея, бесшумно ступая по ковру и мягко улыбаясь, подавала на подносе чай с вареньем, только тогда Иван Иванович приступил к рассказу, и казалось, что его слушали не один только Буркин и Алехин, но также старые и молодые дамы и военные, спокойно и строго глядевшие из золотых рам.

— Нас два брата, — начал он, — я, Иван Иванович, и другой — Николай Иванович, года на два помоложе. Я пошел по ученой части, стал ветеринаром, а Николай уже с девятнадцати лет сидел в казенной палате. Наш отец Чимша-Гималайский был из кантонистов, но, выслужив офицерский чин, оставил нам потомственное дворянство и именьешко. После его смерти именьешко у нас оттягали за долги, но, как бы ни было, детство мы провели в деревне на воле. Мы, всё равно как крестьянские дети, дни и ночи проводили в поле, в лесу, стерегли лошадей, драли лыко, ловили рыбу, и прочее тому подобное... А вы знаете, кто хоть раз в жизни поймал ерша или видел осенью перелетных дроздов, как они в ясные, прохладные дни носятся стаями над деревней, тот уже не городской житель, и его до самой смерти будет потягивать на волю. Мой брат тосковал в казенной палате. Годы проходили, а он всё сидел на одном месте, писал всё те же бумаги и думал всё об одном и том же, как бы в деревню. И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определенное желание, в мечту купить себе маленькую усадьбу где-нибудь на берегу реки или озера.

Он был добрый, кроткий человек, я любил его, но этому желанию запереть себя на всю жизнь в собственную усадьбу я никогда не сочувствовал. Принято говорить, что человеку нужно только три аршина земли. Но ведь три аршина нужны трупу, а не человеку. И говорят также теперь, что если наша интеллигенция имеет тяготение к земле и стремится в усадьбы, то это хорошо. Но ведь эти усадьбы те же три аршина земли. Уходить из города, от борьбы, от житейского шума, уходить и прятаться у себя в усадьбе — это не жизнь, это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа.

Брат мой Николай, сидя у себя в канцелярии, мечтал о том, как он будет есть свои собственные щи, от которых идет такой вкусный запах по всему двору, есть на зеленой травке, спать на солнышке, сидеть по целым часам за воротами на лавочке и глядеть на поле и лес. Сельскохозяйственные книжки и всякие эти советы в календарях составляли его радость, любимую духовную пищу; он любил читать и газеты, но читал в них одни только объявления о том, что продаются столько-то десятин пашни и дуга с усадьбой, рекой, садом, мельницей, с проточными прудами. И рисовались у него в голове дорожки в саду, цветы, фрукты, скворечни, караси в прудах и, знаете, всякая эта штука. Эти воображаемые картины были различны, смотря по объявлениям, которые попадались ему, но почему-то в каждой из них непременно был крыжовник. Ни одной усадьбы, ни одного поэтического угла он не мог себе представить без того, чтобы там не было крыжовника.

— Деревенская жизнь имеет свои удобства, — говорил он, бывало. — Сидишь на балконе, пьешь чай, а на пруде твои уточки плавают, пахнет так хорошо и... и крыжовник растет.

Он чертил план своего имения, и всякий раз у него на плане выходило одно и то же: а) барский дом, б) людская, в) огород, г) крыжовник. Жил он скупко: недоедал, недопивал, одевался Бог знает как, словно нищий, и всё копил и клал в банк. Страшно жадничал. Мне было больно глядеть на него, и я кое-что давал ему и посылал на праздниках, но он и это прятал. Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь.

Годы шли, перевели его в другую губернию, минуло ему уже сорок лет, а он всё читал объявления в газетах и копил. Потом, слышу, женился. Всё с той же целью, чтобы купить себе усадьбу с крыжовником, он женился на старой, некрасивой вдове, без всякого чувства, а только потому, что у нее водились деньжонки. Он и с ней тоже жил скупко, держал ее впроголодь, а деньги ее положил в банк на свое имя. Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни да года через три взяла и отдала Богу душу. И конечно брат мой ни одной минуты не подумал, что он виноват в ее смерти. Деньги, как водка, делают человека чудачком. У нас в городе умирал купец. Перед смертью приказал подать себе тарелку меду и съел все свои деньги и выигрышные билеты вместе с медом, чтобы никому не досталось. Как-то на вокзале я осматривал гурты, и в это время один барышник попал под локомотив и ему отрезало ногу. Несем мы его в приемный покой, кровь льет — страшное дело, а он всё просит, чтобы ногу его отыскали, и всё беспокоится; в сапоге на отрезанной ноге двадцать рублей, как бы не пропали.

— Это вы уж из другой оперы, — сказал Буркин.

— После смерти жены, — продолжал Иван Иваныч, подумав полминуты, — брат мой стал высматривать себе имение. Конечно, хоть пять лет высматривай, но всё же в конце концов ошибешься и купишь совсем не то, о чем мечтал. Брат Николай через комиссионера, с переводом долга, купил сто двенадцать десятин с барским домом, с людской, с парком, но ни фруктового сада, ни крыжовника, ни прудов с уточками; была река, но вода в ней цветом как кофе, потому что по одну сторону имения кирпичный завод, а по другую — костопальный. Но мой Николай Иваныч мало печалился: он выписал себе двадцать кустов крыжовника, посадил и зажил помещиком.

В прошлом году я поехал к нему проведать. Поеду, думаю, посмотрю, как и что там. В письмах своих брат называл свое имение так: Чумбароклова Пустошь, Гималайское тож. Приехал я в «Гималайское тож» после полудня. Было жарко. Везде канавы, заборы, изгороди, посажены рядами елки, — и не знаешь, как проехать во двор, куда поставить лошадь. Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел, располнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед, — того и гляди, хрюкнет в одеяло.

Мы обнялись и всплакнули от радости и от грустной мысли, что когда-то были молоды, а теперь оба седы и умирать пора. Он оделся и повел меня показывать свое имение.

— Ну, как ты тут поживаешь? — спросил я.

— Да ничего, слава Богу, живу хорошо.

Это уж был не прежний робкий бедняга-чиновник, а настоящий помещик, барин. Он уж обжился тут, привык и вошел во вкус; кушал много, в бане мылся, полнел, уже судился с обществом и с обоими заводами и очень обижался, когда мужики не называли его «ваше высокоблагородие». И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не просто, а с важностью. А какие добрые дела? Лечил мужиков от всех болезней содой и касторкой и в день своих именин служил среди деревни благодарственный молебен, а потом ставил полведра, думал, что так нужно. Ах, эти ужасные полведра! Сегодня толстый помещик тащит мужиков к земскому начальнику за потраву, а завтра, в торжественный день, ставит им полведра, а они пьют и кричат ура, и пьяные кланяются ему в ноги. Перемена жизни к лучшему, сытость, праздность развивают в русском человеке самомнение, самое наглое. Николай Иваныч, который когда-то в казенной палате боялся даже для себя лично иметь собственные взгляды, теперь говорил одни только истины, и таким тоном, точно министр: «Образование необходимо, но для народа оно преждевременно», «телесные наказания вообще вредны, но в некоторых случаях они полезны и незаменимы».

— Я знаю народ и умею с ним обращаться, — говорил он. — Меня народ любит. Стоит мне только пальцем шевельнуть, и для меня народ сделает всё, что захочу.

И всё это, заметьте, говорилось с умной, доброю улыбкой. Он раз двадцать повторил: «мы, дворяне», «я, как дворянин»; очевидно, уже не помнил, что дед наш был мужик, а отец — солдат. Даже наша фамилия Чимша-Гималайский, в сущности несообразная, казалась ему теперь звучной, знатной и очень приятной.

Но дело не в нем, а во мне самом. Я хочу вам рассказать, какая перемена произошла во мне в эти немногие часы, пока я был в его усадьбе. Вечером, когда мы пили чай, кухарка подала к столу полную тарелку крыжовнику. Это был не купленный, а свой собственный крыжовник, собранный в первый раз с тех пор, как были посажены кусты. Николай Иваныч засмеялся и минуту глядел на крыжовник, молча, со слезами, — он не мог говорить от волнения, потом положил в рот одну ягоду, поглядел на меня с торжеством ребенка, который наконец получил свою любимую игрушку, и сказал:

— Как вкусно!

И он с жадностью ел и всё повторял:

— Ах, как вкусно! Ты попробуй!

Было жестко и кисло, но, как сказал Пушкин, «тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман». Я видел счастливого человека, заветная мечта которого осуществилась так очевидно, который достиг цели в жизни, получил то, что хотел, который был доволен своею судьбой, самим собой. К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию. Особенно тяжело было ночью. Мне постлали постель в комнате рядом с спальней брата, и мне было слышно, как он не спал и как вставал и подходил к тарелке с крыжовником и брал по яголке. Я соображал: как, в сущности, много довольных, счастливых людей! Какая это подавляющая сила! Вы взгляните на эту жизнь: наглость и праздность сильных, невежество и скотоподобие слабых, кругом бедность невозможная, теснота, вырождение, пьянство, лицемерие, вранье... Между тем во всех домах и на улицах тишина, спокойствие; из пятидесяти тысяч живущих в городе ни одного, который бы вскрикнул, громко возмущился. Мы видим тех, которые ходят на рынок за провизией, днем едят, ночью

спят, которые говорят свою чепуху, женятся, старятся, благодушно тащат на кладбище своих покойников, но мы не видим и не слышим тех, которые страдают, и то, что страшно в жизни, происходит где-то за кулисами. Всё тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания... И такой порядок, очевидно, нужен: очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда — болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других. Но человека с молоточком нет, счастливый живет себе, и мелкие житейские заботы волнуют его слегка, как ветер осину, — и все обстоит благополучно.

— В ту ночь мне стало понятно, как я тоже был доволен и счастлив, — продолжал Иван Иваныч, вставая. — Я тоже за обедом и на охоте поучал, как жить, как веровать, как управлять народом. Я тоже говорил, что ученье свет, что образование необходимо, но для простых людей пока довольно одной грамоты. Свобода есть благо, говорил я, без нее нельзя, как без воздуха, но надо подождать. Да, я говорил так, а теперь спрашиваю: во имя чего ждать? — спросил Иван Иваныч, сердито глядя на Буркина. — Во имя чего ждать, я вас спрашиваю? Во имя каких соображений? Мне говорят, что не всё сразу, всякая идея осуществляется в жизни постепенно, в свое время. Но кто это говорит? Где доказательства, что это справедливо? Вы ссылаетесь на естественный порядок вещей, на законность явлений, но есть ли порядок и законность в том, что я, живой, мыслящий человек, стою надо рвом и жду, когда он зарастет сам или затянет его илом, в то время как, быть может, я мог бы перескочить через него или построить через него мост? И опять-таки, во имя чего ждать? Ждать, когда нет сил жить, а между тем жить нужно и хочется жить!

Я уехал тогда от брата рано утром, и с тех пор для меня стало невыносимо бывать в городе. Меня угнетают тишина и спокойствие, я боюсь смотреть на окна, так как для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Я уже стар и не гожусь для борьбы, я неспособен даже ненавидеть. Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досадную, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать... Ах, если б я был молод!

Иван Иваныч прошелся в волнении из угла в угол и повторил:

— Если б я был молод!

Он вдруг подошел к Алехину и стал пожимать ему то одну руку, то другую.

— Павел Константиныч, — проговорил он умоляющим голосом, — не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя! Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро! Счастья нет и не должно его быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!

И всё это Иван Иваныч проговорил с жалкой, просящей улыбкой, как будто просил лично для себя.

Потом все трое сидели в креслах, в разных концах гостиной, и молчали. Рассказ Ивана Иваныча не удовлетворил ни Буркина, ни Алехина. Когда из золотых рам глядели генералы и дамы, которые в сумерках казались живыми, слушать рассказ про беднягу-чиновника, который ел крыжовник, было скучно. Хотелось почему-то говорить и слушать про изящных людей, про женщин. И то, что они сидели в гостиной, где всё — и люстра в чехле, и кресла, и ковры под ногами говорили, что здесь когда-то ходили, сидели, пили чай вот эти самые люди, которые глядели теперь из рам, и то, что здесь теперь бесшумно ходила красивая Пелагея, — это было лучше всяких рассказов.

Алехину сильно хотелось спать; он встал по хозяйству рано, в третьем часу утра, и теперь у него слипались глаза, но он боялся, как бы гости не стали без него рассказывать что-нибудь интересное, и не уходил. Умно ли, справедливо ли было то, что только что говорил Иван Иваныч, он не вникал; гости говорили не о крупе, не о сене, не о дегте, а о чем-то, что не имело прямого отношения к его жизни, и он был рад и хотел, чтобы они продолжали...

— Однако пора спать, — сказал Буркин, поднимаясь. — Позвольте пожелать вам спокойной ночи.

Алехин простился и ушел к себе вниз, а гости остались наверху. Им обоим отвели на ночь большую комнату, где стояли две старые деревянные кровати с резными украшениями и в углу было распятие из слоновой кости; от их постелей, широких, прохладных, которые постилала красивая Пелагея, приятно пахло свежим бельем.

Иван Иваныч молча разделся и лег.

— Господи, прости нас грешных! — проговорил он и укрылся с головой.

От его трубочки, лежавшей на столе, сильно пахло табачным перегаром, и Буркин долго не спал и всё никак не мог понять, откуда этот тяжелый запах.

Дождь стучал в окна всю ночь.

ИОНЫЧ

I

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства. И указывали на семью Туркиных как на самую образованную и талантливую.

Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном доме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Он знал много анекдотов, шарад, поговорок, любил шутить и острить, и всегда у него было такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. Жена его, Вера Иосифовна, худощавая, миловидная дама в рince-nez, писала повести и романы и охотно читала их вслух своим гостям. Дочь, Екатерина Ивановна, молодая девушка, играла на рояле. Одним словом, у каждого члена семьи был какой-нибудь свой талант. Туркины принимали гостей радушно и показывали им свои таланты весело, с сердечной простотой. В их большом каменном доме было просторно и летом прохладно, половина окон выходила в старый тенистый сад, где весной пели соловьи; когда в доме сидели гости, то в кухне стучали ножами, во дворе пахло жареным луком -- и это всякий раз предвещало обильный и вкусный ужин.

И доктору Старцеву, Дмитрию Ионычу, когда он был только что назначен земским врачом и поселился в Дялиже, в девяти верстах от С., тоже говорили, что ему, как интеллигентному человеку, необходимо познакомиться с Туркиными. Как-то зимой на улице его представили Ивану Петровичу; поговорили о погоде, о театре, о холере, последовало приглашение. Весной, в праздник -- это было Вознесение, -- после приема больных, Старцев отправился в город, чтобы развлечься немножко и кстати купить себе кое-что. Он шел пешком, не спеша (своих лошадей у него еще не было), и всё время напевал:

В городе он пообедал, погулял в саду, потом как-то само собой пришло ему на память приглашение Ивана Петровича, и он решил сходить к Туркиным, посмотреть, что это за люди.

-- Здравствуйте пожалуйста. -- сказал Иван Петрович, встречая его на крыльце. -- Очень, очень рад видеть такого приятного гостя. Пойдемте, я представлю вас своей благоверной. Я говорю ему, Верочка, -- продолжал он, представляя доктора жене, -- я ему говорю, что он не имеет никакого римского права сидеть у себя в больнице, он должен отдавать свой досуг обществу. Не правда ли, душенька?

-- Садитесь здесь, -- говорила Вера Иосифовна, сажая гостя возле себя. -- Вы можете ухаживать за мной. Мой муж ревнив, это Отелло, но ведь мы постараемся вести себя так, что он ничего не заметит.

-- Ах ты, цыпка, баловница... -- нежно пробормотал Иван Петрович и поцеловал ее в лоб. -- Вы очень кстати пожаловали, -- обратился он опять к гостю, -- моя благоверная написала большинский роман и сегодня будет читать его вслух.

-- Жанчик, -- сказала Вера Иосифовна мужу, -- dites que l'on nous donne du the. {Скажи, чтобы дали нам чаю (франц.).}

Старцеву представили Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку, очень похожую на мать, такую же худошавую и миловидную. Выражение у нее было еще детское и талия тонкая, нежная; и девственная, уже развитая грудь, красивая, здоровая, говорила о весне, настоящей весне. Потом пили чай с вареньем, с медом, с конфетами и с очень вкусными печеньями, которые таяли во рту. С наступлением вечера мало-помалу сходились гости, и к каждому из них Иван Петрович обращал свои смеющиеся глаза и говорил:

-- Здравствуйте пожалуйста.

Потом все сидели в гостиной, с очень серьезными лицами, и Вера Иосифовна читала свой роман. Она начала так: "Мороз крепчал..." Окна были открыты настежь, слышно было, как на кухне стучали ножами, и доносился запах жареного лука... В мягких, глубоких креслах было покойно, огни мигали так ласково в сумерках гостиной; и теперь, в летний вечер, когда долетали с улицы голоса, смех и потягивало со двора сиренью, трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге; Вера Иосифовна читала о том, как молодая, красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника. -- читала о том, чего никогда не бывает в жизни, и все-таки слушать было приятно, удобно, и в голову шли всё такие хорошие, спокойные мысли, -- не хотелось вставать.

-- Недурственно... -- тихо проговорил Иван Петрович.

А один из гостей, слушая и уносясь мыслями куда-то очень, очень далеко, сказал едва слышно:

-- Да... действительно...

Прошел час, другой. В городском саду по соседству играл оркестр и пел хор песенников. Когда Вера Иосифовна закрыла свою тетрадь, то минут пять молчали и слушали "Лучинушку", которую пел хор, и эта песня передавала то, чего не было в романе и что бывает в жизни.

-- Вы печатаете свои произведения в журналах? -- спросил у Веры Иосифовны Старцев.

-- Нет, -- отвечала она, -- я нигде не печатаю. Напишу и спрячу у себя в шкапу. Для чего печатать? -- пояснила она. -- Ведь мы имеем средства.

И все почему-то вздохнули.

-- А теперь ты, Котик, сыграй что-нибудь. -- сказал Иван Петрович дочери.

Подняли у рояля крышку, раскрыли ноты, лежавшие уже наготове. Екатерина Ивановна села и обеими руками ударила по клавишам; и потом тотчас же опять ударила изо всей силы, и опять, и опять; плечи и грудь у нее содрогались, она упрямо ударяла всё по одному месту, и казалось, что она не перестанет, пока не вобьет клавишей внутрь рояля. Гостиная наполнилась громом; гремело всё: и пол, и потолок, и мебель... Екатерина Ивановна играла трудный пассаж, интересный именно своею трудностью, длинный и однообразный, и Старцев, слушая, рисовал себе, как с высокой горы сыплются камни, сыплются и всё сыплются, и ему хотелось, чтобы они поскорее перестали сыпаться, и в то же время Екатерина Ивановна, розовая от напряжения, сильная, энергичная, с локоном, упавшим на лоб, очень нравилась ему. После зимы, проведенной в Дялиже, среди больных и мужиков, сидеть в гостиной, смотреть на это молодое, изящное и, вероятно, чистое существо и слушать эти шумные, надоедливые, но всё же культурные звуки, -- было так приятно, так ново...

-- Ну, Котик, сегодня ты играла, как никогда, -- сказал Иван Петрович со слезами на глазах, когда его дочь кончила и встала. -- Умри, Денис, лучше не напишешь.

Все окружили ее, поздравляли, изумлялись, уверяли, что давно уже не слыхали такой музыки, а она слушала молча, чуть улыбаясь, и на всей ее фигуре было написано торжество.

-- Прекрасно! превосходно!

-- Прекрасно!-- сказал и Старцев, поддаваясь общему увлечению. -- Вы где учились музыке? -- спросил он у Екатерины Ивановны. -- В консерватории?

-- Нет, в консерваторию я еще только собираюсь, а пока училась здесь, у мадам Завловской.

-- Вы кончили курс в здешней гимназии?

-- О нет! -- ответила за нее Вера Иосифовна. -- Мы приглашали учителей на дом, в гимназии же или в институте, согласитесь, могли быть дурные влияния; пока девушка растет, она должна находиться под влиянием одной только матери.

-- А все-таки в консерваторию я поеду, -- сказала Екатерина Ивановна.

-- Нет, Котик любит свою маму. Котик не станет огорчать папу и маму.

-- Нет, поеду! Поеду! -- сказала Екатерина Ивановна, шутя и капризная, и топнула ножкой.

А за ужином уже Иван Петрович показывал свои таланты. Он, смеясь одними только глазами, рассказывал анекдоты, острил, предлагал смешные задачи и сам же решал их и всё время говорил на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уже вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчило вас благодарю...

Но это было не всё. Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженный, с полными щеками.

-- А ну-ка, Пава, изобрази! -- сказал ему Иван Петрович.

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном:

-- Умри, несчастная!

И все захохотали.

"Занятно", -- подумал Старцев, выходя на улицу.

Он зашел еще в ресторан и выпил пива, потом отправился пешком к себе в Дялиж. Шел он и всю дорогу напевал: *Твой голос для меня, и ласковый, и томный...*

Пройдя девять верст и потом ложась спать, он не чувствовал ни малейшей усталости, а напротив, ему казалось, что он с удовольствием прошел бы еще верст двадцать.

"Недурственно..." -- вспомнил он, засыпая, и засмеялся.

II

Старцев всё собирался к Туркиным, но в больнице было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа. Прошло больше года таким образом в трудах и одиночестве; но вот из города принесли письмо в голубом конверте...

Вера Иосифовна давно уже страдала мигренью, но в последнее время, когда Котик каждый день пугала, что уедет в консерваторию, припадки стали повторяться всё чаще. У Туркиных перебивали все городские врачи; дошла наконец очередь и до земского. Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания. Старцев приехал и после этого стал бывать у Туркиных часто, очень часто... Он в самом деле немножко помог Вере Иосифовне, и она всем гостям уже говорила, что это необыкновенный, удивительный доктор. Но ездил он к Туркиным уже не ради ее мигрени...

Праздничный день. Екатерина Ивановна кончила свои длинные, томительные экзерсисы на рояле. Потом долго сидели в столовой и пили чай, и Иван Петрович рассказывал что-то смешное. Но вот звонок; нужно было идти в переднюю встречать какого-то гостя; Старцев воспользовался минутой замешательства и сказал Екатерине Ивановне шёпотом, сильно волнуясь:

-- Ради Бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдите в сад!

Она пожала плечами, как бы недоумевая и не понимая, что ему нужно от нее, но встала и пошла.

-- Вы по три, по четыре часа играете на рояле, -- говорил он, идя за ней, -- потом сидите с мамой, и нет никакой возможности поговорить с вами. Дайте мне хоть четверть часа, умоляю вас.

Приближалась осень, и в старом саду было тихо, грустно и на аллеях лежали темные листья. Уже рано смеркалось.

-- Я не видел вас целую неделю, -- продолжал Старцев, -- а если бы вы знали, какое это страдание! Сядемте. Выслушайте меня.

У обоих было любимое место в саду: скамья под старым широким кленом. И теперь сели на эту скамью.

-- Что вам угодно? -- спросила Екатерина Ивановна сухо, деловым тоном.

-- Я не видел вас целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду вашего голоса. Говорите.

Она восхищалась его своею свежестью, наивным выражением глаз и щек. Даже в том, как сидело на ней платье, он видел что-то необыкновенно милое, трогательное своей простотой и наивной грацией. И в то же время, несмотря на эту наивность, она казалась ему очень умной и развитой не по летам. С ней он мог говорить о литературе, об искусстве, о чем угодно, мог жаловаться ей на жизнь, на людей, хотя во время серьезного разговора, случалось, она вдруг некстати начинала смеяться или убегала в дом. Она, как почти все с-ие девушки, много читала (вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку); это бесконечно нравилось Старцеву, он с волнением спрашивал у нее всякий раз, о чем она читала в последние дни, и, очарованный, слушал, когда она рассказывала.

-- Что вы читали на этой неделе, пока мы не виделись? -- спросил он теперь. -- Говорите, прошу вас.

-- Я читала Писемского.

-- Что именно?

-- "Тысяча душ", -- ответила Котик. -- А как смешно звали Писемского: Алексей Феофилактыч!

-- Куда же вы? -- ужаснулся Старцев, когда она вдруг встала и пошла к дому. -- Мне необходимо поговорить с вами, я должен объясниться... Побудьте со мной хоть пять минут! Заклинаю вас!

Она остановилась, как бы желая что-то сказать, потом неловко сунула ему в руку записку и побежала в дом, и там опять села за рояль.

"Сегодня, в одиннадцать часов вечера, -- прочел Старцев, -- будьте на кладбище возле памятника Деметти".

"Ну, уж это совсем не умно, -- подумал он, придя в себя. -- При чем тут кладбище? Для чего?"

Было ясно: Котик дурачилась. Кому, в самом деле, придет серьезно в голову назначать свидание ночью, далеко за городом, на кладбище, когда это легко можно устроить на улице, в городском саду? И к лицу ли ему, земскому доктору, умному, солидному человеку, вздыхать, получать записочки, таскаться по кладбищам, делать глупости, над которыми смеются теперь даже гимназисты? К чему поведет этот роман? Что скажут товарищи, когда узнают? Так думал Старцев, бродя в клубе около столов, а в половине одиннадцатого вдруг взял и поехал на кладбище.

У него уже была своя пара лошадей и кучер Пантелеймон в бархатной жилетке. Светила луна. Было тихо, тепло, но тепло по-осеннему. В предместье, около боен, выли собаки. Старцев оставил лошадей на краю города, в одном из переулков, а сам пошел на кладбище пешком. "У всякого свои странности, -- думал он. -- Котик тоже странная и -- кто знает? -- быть может, она не шутит, придет", -- и он отдался этой слабой, пустой надежде, и она опьянила его.

С полверсты он прошел полем. Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота... При лунном свете на воротах можно было прочесть: "Грядет час в онь же..." Старцев вошел в калитку, и первое, что он увидел, это белые кресты и памятники по обе стороны широкой аллеи и черные тени от них и от тополей; и кругом далеко было видно белое и черное, и сонные деревья склоняли свои ветви над белым. Казалось, что здесь было светлей, чем в поле; листья кленов, похожие на лапы, резко выделялись на желтом песке аллеи и на плитах, и надписи на памятниках были ясны. На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое. -- мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листьев, веет прощением, печалью и покоем.

Кругом безмолвие; в глубоком смирении с неба смотрели звезды, и шаги Старцева раздавались так резко и некстати. И только когда в церкви стали бить часы и он вообразил самого себя мертвым, зарытым здесь навеки, то ему показалось, что кто-то смотрит на него, и он на минуту подумал, что это не покой и не тишина, а глухая тоска небытия, подавленное отчаяние...

Памятник Деметти в виде часовни, с ангелом наверху; когда-то в С. была проездом итальянская опера, одна из певиц умерла, ее похоронили и поставили этот памятник. В городе уже никто не помнил о ней, но лампадка над входом отражала лунный свет и, казалось, горела.

Никого не было. Да и кто пойдёт сюда в полночь? Но Старцев ждал, и, точно лунный свет подогревал в нем страсть, ждал страстно и рисовал в воображении поцелуи, объятия. Он посидел около памятника с полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, со шляпой в руке, поджидая и думая о том, сколько здесь, в этих могилах, зарыто женщин и девушек, которые были красивы, очаровательны, которые любили, сгорали по ночам страстью, отдаваясь ласке. Как в сущности нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные тела, он видел формы, которые стыдливо прятались в тени деревьев, ощущал тепло, и это томление становилось тягостным...

И точно опустился занавес, луна ушла под облака, и вдруг всё потемнело кругом. Старцев едва нашел ворота, -- уже было темно, как в осеннюю ночь, -- потом часа полтора бродил, отыскивая переулочек, где оставил своих лошадей.

-- Я устал, едва держусь на ногах, -- сказал он Пантелеймону.

И, садясь с наслаждением в коляску, он подумал: "Ох, не надо бы полнеть!"

III

На другой день вечером он поехал к Туркиным делать предложение. Но это оказалось неудобным, так как Екатерину Ивановну в ее комнате причесывал парикмахер. Она собиралась в клуб на танцевальный вечер.

Пришлось опять долго сидеть в столовой и пить чай. Иван Петрович, видя, что гость задумчив и скучает, вынул из жилетного кармана записочки, прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запираательства и обвалилась застенчивость.

"А приданого они дадут, должно быть, немало", -- думал Старцев, рассеянно слушая.

После бессонной ночи он находился в состоянии ошеломления, точно его опоили чем-то сладким и усыпляющим; на душе было туманно, но радостно, тепло, и в то же время в голове какой-то холодный, тяжелый кусочек рассуждал:

"Остановись, пока не поздно! Пара ли она тебе? Она избалована, капризна, спит до двух часов, а ты дьячковский сын, земский врач..."

"Ну что ж? -- думал он. -- И пусть".

"К тому же, если ты женишься на ней, -- продолжал кусочек, -- то ее родия заставит тебя бросить земскую службу и жить в городе".

"Ну что ж? -- думал он. -- В городе, так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку..."

Наконец вошла Екатерина Ивановна в бальном платье, декольте, хорошенькая, чистенькая, и Старцев залюбовался и пришел в такой восторг, что не мог выговорить ни одного слова, а только смотрел на нее и смеялся.

Она стала прощаться, и он -- оставаться тут ему было уже незачем -- поднялся, говоря, что ему пора домой: ждут больные.

-- Делать нечего, -- сказал Иван Петрович, -- поезжайте, кстати же подвезете Котика в клуб.

На дворе накрапывал дождь, было очень темно, и только по хриплому кашлю Пантелеймона можно было угадать, где лошади. Подняли у коляски верх.

-- Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь, -- говорил Иван Петрович, усаживая дочь в коляску, -- он идет, пока врет... Трогай! Прощайте пожалуйста!

Поехали.

-- А я вчера был на кладбище, -- начал Старцев. -- Как это невеликодушно и немилосердно с вашей стороны...

-- Вы были на кладбище?

-- Да, я был там и ждал вас почти до двух часов. Я страдал...

-- И страдайте, если вы не понимаете шуток.

Екатерина Ивановна, довольная, что так хитро подшутила над влюбленным и что ее так сильно любят, захохотала и вдруг вскрикнула от испуга, так как в это самое время лошади круто поворачивали в ворота клуба и коляска накренилась. Старцев обнял Екатерину Ивановну за талию; она, испуганная, прижалась к нему, и он не удержался и страстно поцеловал ее в губы, в подбородок и сильнее обнял.

-- Довольно, -- сказала она сухо.

И чрез мгновение ее уже не было в коляске, и городской около освещенного подъезда клуба кричал отвратительным голосом на Пантелеймона:

-- Чего стал, ворона? Проезжай дальше!

Старцев поехал домой, но скоро вернулся. Одетый в чужой фрак и белый жесткий галстук, который как-то всё топорщился и хотел сползти с воротничка, он в полночь сидел в клубе в гостиной и говорил Екатерине Ивановне с увлечением:

-- О, как мало знают те, которые никогда не любили! Мне кажется, никто еще не описал верно любви, и едва ли можно описать это нежное, радостное, мучительное чувство, и кто испытал его хоть раз, тот не станет передавать его на словах. К чему предисловия, описания? К чему ненужное красноречие? Любовь моя безгранична... Прошу, умоляю вас, -- выговорил наконец Старцев, -- будьте моей женой!

-- Дмитрий Ионыч, -- сказала Екатерина Ивановна с очень серьезным выражением, подумав. -- Дмитрий Ионыч, я очень вам благодарна за честь, я вас уважаю, но... -- она встала и продолжала стоя, -- но, извините, быть вашей женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитрий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима. Сделаться женой -- о нет, простите! Человек должен стремиться к высшей, блестящей цели, а семейная жизнь связала бы меня навеки. Дмитрий Ионыч (она чуть-чуть улыбнулась, так как, произнеся "Дмитрий Ионыч", вспомнила "Алексей Феофилактыч"), Дмитрий Ионыч, вы добрый, благородный, умный человек, вы лучше всех... -- у нее слезы навернулись на глазах, -- я сочувствую вам всей душой, но... но вы поймете...

И, чтобы не заплакать, она отвернулась и вышла из гостиной.

У Старцева перестало беспокойно биться сердце. Выйдя из клуба на улицу, он прежде всего сорвал с себя жесткий галстук и вздохнул всей грудью. Ему было немножко стыдно и самолюбие его было оскорблено, -- он не ожидал отказа, -- и не верилось, что все его мечты, томления и надежды привели его к такому глупенькому концу, точно в маленькой пьесе на любительском спектакле. И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал или изо всей силы хватил бы зонтиком по широкой спине Пантелеймона.

Дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спал, но, когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему.

Потом, иногда вспоминая, как он бродил по кладбищу или как ездил по всему городу и отыскивал фрак, он лениво потягивался и говорил:

-- Сколько хлопот, однако!

IV

Прошло четыре года. В городе у Старцева была уже большая практика. Каждое утро он спешно принимал больных у себя в Дялиже, потом уезжал к городским больным, уезжал уже не на паре, а на тройке с бубенчиками, и возвращался домой поздно ночью. Он пополнил, раздобыл и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой. И Пантелеймон тоже пополнил, и чем он больше рос в ширину, тем печальнее вздыхал и жаловался на свою горькую участь: езда одолела!

Старцев бывал в разных домах и встречал много людей, но ни с кем не сходилась близко. Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек, но стоит только заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остается только рукой махнуть и отойти. Когда Старцев пробовал заговорить даже с либеральным обывателем, например, о том, что человечество, слава Богу, идет вперед и что со временем оно будет обходиться без паспортов и без смертной казни, то обыватель глядел на него искоса и недоверчиво и спрашивал: "Значит, тогда всякий может резать на улице кого угодно?" А когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, говорил о том, что нужно трудиться, что без труда жить нельзя, то всякий принимал это за упрек и начинал сердиться и назойливо спорить. При всем том обыватели не делали ничего, решительно ничего, и не интересовались ничем, и никак нельзя было придумать, о чем говорить с ними. И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт, и когда заставал в каком-нибудь доме семейный праздник и его приглашали откусать, то он садился и ел молча, глядя в тарелку; и всё, что в это время говорили, было неинтересно, несправедливо, глупо, он чувствовал раздражение, волновался, но молчал, и за то, что он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его прозвали в городе "поляк надутый", хотя он никогда поляком не был.

От таких развлечений, как театр и концерты, он уклонялся, но зато в винт играл каждый вечер, часа по три, с наслаждением. Было у него еще одно развлечение, в которое он втянулся незаметно, мало-помалу, это -- по вечерам вынимать из карманов бумажки, добытые практикой, и, случалось, бумажек -- желтых и зеленых, от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, и ворванью, -- было понапихано во все карманы рублей на семьдесят; и когда собиралось несколько сот, он отвозил в Общество взаимного кредита и клал там на текущий счет.

За все четыре года после отъезда Екатерины Ивановны он был у Туркиных только два раза, по приглашению Веры Иосифовны, которая всё еще лечилась от мигрени. Каждое лето Екатерина Ивановна приезжала к родителям погостить, но он не видел ее ни разу; как-то не случалось.

Но вот прошло четыре года. В одно тихое, теплое утро в больницу принесли письмо. Вера Иосифовна писала Дмитрию Ионычу, что очень соскучилась по нем, и просила его непременно пожаловать к ней и облегчить ее страдания, и кстати же сегодня день ее рождения. Внизу была приписка: "К просьбе мамы присоединяюсь и я. К."

Старцев подумал и вечером поехал к Туркиным.

-- А, здравствуйте пожалуйста! -- встретил его Иван Петрович, улыбаясь одними глазами. -- Бонжурте.

Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая, с белыми волосами, пожала Старцеву руку, манерно вздохнула и сказала:

-- Вы, доктор, не хотите ухаживать за мной, никогда у нас не бываете, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая, быть может, она будет счастливее.

А Котик? Она похудела, побледнела, стала красивее и стройнее; но уже это была Екатерина Ивановна, а не Котик; уже не было прежней свежести и выражения детской наивности. И во взгляде, и в манерах было что-то новое -- несмелое и виноватое, точно здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала себя дома.

-- Сколько лет, сколько зим! -- сказала она, подавая Старцеву руку, и было видно, что у нее тревожно билось сердце; и пристально, с любопытством глядя ему в лицо, она продолжала: -- Как вы пополнили! Вы загорели, возмужали, но в общем вы мало изменились.

И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней, или что-то было лишнее, -- он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде. Ему не нравилась ее бледность, новое выражение, слабая улыбка, голос, а немного погодя уже не нравилось платье, кресло, в котором она сидела, не нравилось что-то в прошлом, когда он едва не женился на ней. Он вспомнил о своей любви, о мечтах и надеждах, которые волновали его четыре года назад, -- и ему стало неловко.

Пили чай со сладким пирогом. Потом Вера Иосифовна читала вслух роман, читала о том, чего никогда не бывает в жизни, а Старцев слушал, глядел на ее седую, красивую голову и ждал, когда она кончит.

"Бездарен, -- думал он, -- не тот, кто не умеет писать повестей, а тот, кто их пишет и не умеет скрыть этого".

-- Недурственно, -- сказал Иван Петрович.

Потом Екатерина Ивановна играла на рояле шумно и долго, и, когда кончила, ее долго благодарили и восхищались ею.

"А хорошо, что я на ней не женился", -- подумал Старцев.

Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что он предложит ей пойти в сад, но он молчал.

-- Давайте же поговорим, -- сказала она, подходя к нему. -- Как вы живете? Что у вас? Как? Я все эти дни думала о вас, -- продолжала она нервно, -- я хотела послать вам письмо, хотела сама поехать к вам в Дялиж, и я уже решила поехать, но потом раздумала, -- Бог знает, как вы теперь ко мне относитесь. Я с таким волнением ожидала вас сегодня. Ради Бога, пойдете в сад.

Они пошли в сад и сели там на скамью под старым кленом, как четыре года назад. Было темно.

-- Как же вы поживаете? -- спросила Екатерина Ивановна.

-- Ничего, живем понемножку, -- ответил Старцев.

И ничего не мог больше придумать. Помолчали.

-- Я волнуюсь, -- сказала Екатерина Ивановна и закрыла руками лицо, -- но вы не обращайтесь внимания. Мне так хорошо дома, я так рада видеть всех и не могу привыкнуть. Сколько воспоминаний! Мне казалось, что мы будем говорить с вами без умолку, до утра.

Теперь он видел близко ее лицо, блестящие глаза, и здесь, в темноте, она казалась моложе, чем в комнате, и даже как будто вернулось к ней ее прежнее детское выражение. И в самом деле, она с наивным любопытством смотрела на него, точно хотела поближе разглядеть и понять человека, который когда-то любил ее так пламенно, с такой нежностью и так несчастливо; ее глаза благодарили его за эту любовь. И он вспомнил всё, что было, все малейшие подробности, как он бродил по кладбищу, как потом под утро, утомленный, возвращался к себе домой, и ему вдруг стало грустно и жаль прошлого. В душе затеплился огонек.

-- А помните, как я провожал вас на вечер в клуб? -- сказал он. -- Тогда шел дождь, было темно...

Огонек всё разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь...

-- Эх! -- сказал он со вздохом. -- Вы вот спрашиваете, как я поживаю. Как мы поживаем тут? Да никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День да ночь -- сутки прочь, жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей... Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что хорошего?

-- Но у вас работа, благородная цель в жизни. Вы так любили говорить о своей больнице. Я тогда была какая-то странная, воображала себя великой пианисткой. Теперь все барышни играют на рояле, и я тоже играла, как все, и ничего во мне не было особенного; я такая же пианистка, как мама писательница. И конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и думала. Какое это счастье быть земским врачом, помогать страдальцам, служить народу. Какое счастье! -- повторила Екатерина Ивановна с увлечением. -- Когда я думала о вас в Москве, вы представлялись мне таким идеальным, возвышенным...

Старцев вспомнил про бумажки, которые он по вечерам вынимал из карманов с таким удовольствием, и огонек в душе погас.

Он встал, чтобы идти к дому. Она взяла его под руку.

-- Вы лучший из людей, которых я знала в своей жизни, -- продолжала она. -- Мы будем видеться, говорить, не правда ли? Обещайте мне. Я не пианистка, на свой счет я уже не заблуждаюсь и не буду при вас ни играть, ни говорить о музыке.

Когда вошли в дом и Старцев увидел при вечернем освещении ее лицо и грустные, благодарные, испытующие глаза, обращенные на него, то почувствовал беспокойство и подумал опять:

"А хорошо, что я тогда не женился".

Он стал прощаться.

-- Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина, -- говорил Иван Петрович, провожая его. -- Это с вашей стороны весьма перпендикулярно. А ну-ка, изобрази! -- сказал он, обращаясь в передней к Паву.

Паву, уже не мальчик, а молодой человек с усами, стал в позу, поднял вверх руку и сказал трагическим голосом:

-- Умри, несчастная!

Всё это раздражало Старцева. Садясь в коляску и глядя на темный дом и сад, которые были ему так милы и дороги когда-то, он вспомнил всё сразу -- и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.

Через три дня Паву принес письмо от Екатерины Ивановны.

"Вы не едете к нам. Почему? -- писала она. -- Я боюсь, что Вы изменились к нам; я боюсь, и мне страшно от одной мысли об этом. Успокойте же меня, приезжайте и скажите, что всё хорошо.

Мне необходимо поговорить с Вами. Ваша Е. Т."

Он прочел это письмо, подумал и сказал Паве:

-- Скажи, любезный, что сегодня я не могу приехать, я очень занят. Приеду, скажи, так, дня через три.

Но прошло три дня, прошла неделя, а он всё не ехал. Как-то, проезжая мимо дома Туркиных, он вспомнил, что надо бы заехать хоть на минутку, но подумал и... не заехал.

И больше уж он никогда не бывал у Туркиных.

V

Прошло еще несколько лет. Старцев еще больше пополнил, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Когда он, пухлый, красный, едет на тройке с бубенчиками и Пантелеймон, тоже пухлый и красный, с мясистым затылком, сидит на козлах, протянув вперед прямые, точно деревянные руки, и кричит встречным "Прррава держи!", то картина бывает внушительная, и кажется, что едет не человек, а языческий бог. У него в городе громадная практика, некогда вздохнуть, и уже есть имение и два дома в городе, и он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее, и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на не одетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

-- Это кабинет? Это спальня? А тут что?

И при этом тяжело дышит и вытирает со лба пот.

У него много хлопот, но всё же он не бросает земского места: жадность одолела, хочется поспеть и здесь и там. В Дялиже и в городе его зовут уже просто Ионычем. -- "Куда это Ионыч едет?" или: "Не пригласить ли на консилиум Ионыча?"

Вероятно оттого, что горло заплыло жиром, голос у него изменился, стал тонким и резким. Характер у него тоже изменился: стал тяжелым, раздражительным. Принимая больных, он обыкновенно сердится, нетерпеливо стучит палкой о пол и кричит своим неприятным голосом:

-- Извольте отвечать только на вопросы! Не разговаривать!

Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует.

За всё время, пока он живет в Дялиже, любовь к Котику была его единственной радостью и, вероятно, последней. По вечерам он играет в клубе в винт и потом сидит один за большим столом и ужинает. Ему прислуживает лакей Иван, самый старший и почтенный, подают ему лафит No 17, и уже все -- и старшины клуба, и повар, и лакей -- знают, что он любит и чего не любит, стараются изо всех сил угодить ему, а то, чего доброго, рассердится вдруг и станет стучать палкой о пол.

Ужиная, он изредка оборачивается и вмешивается в какой-нибудь разговор:

-- Это вы про что? А? Кого?

И когда, случается, по соседству за каким-нибудь столом заходит речь о Туркиных, то он спрашивает:

-- Это вы про каких Туркиных? Это про тех, что дочка играет на фортепьянах?

Вот и всё, что можно сказать про него.

А Туркины? Иван Петрович не постарел, нисколько не изменился и по-прежнему всё острит и рассказывает анекдоты; Вера Иосифовна читает гостям свои романы по-прежнему охотно, с сердечной простотой. А Котик играет на рояле каждый день, часа по четыре. Она заметно постарела, похварывает и каждую осень уезжает с матерью в Крым. Провожая их на вокзале, Иван Петрович, когда трогается поезд, утирает слезы и кричит:

-- Прощайте пожалуйста!

И машет платком.

ЕГЕРЬ

Знойный и душный полдень. На небе ни облачка... Выжженная солнцем трава глядит уныло, безнадежно: хоть и будет дождь, но уж не зеленеть ей... Лес стоит молча, неподвижно, словно всматривается куда-то своими верхушками или ждет чего-то.

По краю сечи лениво, вразвалку, плетется высокий узкоплечий мужчина лет сорока, в красной рубахе, латаных господских штанах и в больших сапогах. Плетется он по дороге. Направо зеленеет сеча, налево, до самого горизонта, тянется золотистое море поспевшей ржи... Он красен и вспотел. На его красивой белокурой голове ухарски сидит белый картузик с прямым, жокейским козырьком, очевидно подарок какого-нибудь расщедрившегося барича. Через плечо перекинут ягдташ, в котором лежит скомканный петух-тетерев. Мужчина держит в руках двустволку со взведенными курками и щурит глаза на своего старого, тощего пса, который бежит впереди и обнюхивает кустарник. Кругом тихо, ни звука... Всё живое попряталось от зноя.

— Егор Власыч! — слышит вдруг охотник тихий голос.

Он вздрагивает и, оглядевшись, хмурит брови. Возле него, словно из земли выросши, стоит бледнолицая баба лет тридцати, с серпом в руке. Она старается заглянуть в его лицо и застенчиво улыбается.

— А, это ты, Пелагея! — говорит охотник, останавливаясь и медленно спуская курки. — Гм!.. Как же это ты сюда попала?

— Тут из нашей деревни бабы работают, так вот и я с ими... В работницах, Егор Власыч.

— Тэк... — мычит Егор Власыч и медленно идет дальше.

Пелагея за ним. Проходят молча шагов двадцать.

— Давно уж я вас не видала, Егор Власыч... — говорит Пелагея, нежно глядя на двигающиеся плечи и лопатки охотника. — Как заходили вы на Святой в нашу избу воды напиться, так с той поры вас и не видали... На Святой на минутку зашли, да и то Бог знает как... в пьяном виде... Побранили, побили и ушли... Уж я ждала, ждала... глаза все проглядела, вас поджидаючи... Эх, Егор Власыч, Егор Власыч! Хоть бы разочек зашли!

— Что ж мне у тебя делать-то?

— Оно, конечно, делать нечего, да так... все-таки ж хозяйство... Поглядеть, как и что... Вы хозяин... Ишь ты, тетерьку подстрелили. Егор Власыч! Да вы бы сели, отдохнули...

Говоря всё это, Пелагея смеется, как дурочка, и глядит вверх на лицо Егора... От лица ее так и дышит счастьем...

— Посидеть? Пожалуй... — говорит равнодушным тоном Егор и выбирает местечко между двумя рядом растущими елками. — Что ж ты стоишь? Садись и ты!

Пелагея садится поодаль на припеке и, стыдясь своей радости, закрывает рукой улыбающийся рот. Минуты две проходят в молчании.

— Хоть бы разочек зашли, — говорит тихо Пелагея.

— Зачем? — вздыхает Егор, снимая свой картузик и вытирая рукавом красный лоб. — Нет никакой надобности. Зайти на час-другой — канитель одна, только тебя взбаламутишь, а постоянно жить в деревне — душа не терпит... Сама знаешь, человек я балованный... Мне чтоб и кровать была, и чай хороший, и разговоры деликатные... чтоб все степени мне были, а у тебя там на деревне беднота, копоть... Я и дня не выживу. Ежели б указ такой, положим, вышел, чтоб беспрерывно мне у тебя жить, так я бы или избу сжег, или руки бы на себя наложил. Сызмалетства во мне это баловство сидит, ничего не поделаешь.

— Таперя вы где живете?

— У барина, Дмитрия Ивановича, в охотниках. К его столу дичь поставляю, а больше так... из-за удовольствия меня держит.

— Не степенное ваше дело, Егор Власыч... Для людей это баловство, а у вас оно словно как бы и ремесло... занятие настоящее...

— Не понимаешь ты, глупая, — говорит Егор, мечтательно глядя на небо. — Ты отродясь не понимала и век тебе ее понять, что я за человек... По-твоему, я шальной, заблудящий человек, а который понимающий, для того я что ни на есть лучший стрелок во всем уезде. Господа это чувствуют и даже в журнале про меня печатали. Ни один человек не сравняется со мной по охотничьей части... А что я вашим деревенским занятием брезгаю, так это не из баловства, не из гордости. С самого младенчества, знаешь, я окромя ружья и собак никакого занятия не знал. Ружье отнимают, я за удочку, удочку отнимают, я руками промышляю. Ну, и по лошадиной части барышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги водились, а сама знаешь, что ежели который мужик записался в охотники или в лошадики, то прощай соха. Раз сядет в человека вольный дух, то ничем его не выковыришь. Тоже вот ежели который барин пойдет в ахтеры или по другим каким художествам, то не быть ему ни в чиновниках, ни в помещиках. Ты баба, не понимаешь, а это понимать надо.

— Я понимаю, Егор Власыч.

— Стало быть, не понимаешь, коли плакать собираешься...

— Я... я не плачу... — говорит Пелагея, отворачиваясь. — Грех, Егор Власыч! Хоть бы денек со мной, несчастной, пожил. Уж двенадцать лет, как я за вас вышла, а... а промеж нас ни разу любви не было!.. Я... я не плачу...

— Любови... — бормочет Егор, почесывая руку. — Никакой любви не может быть. Одно только звание, что мы муж и жена, а нешто это так и есть? Я для тебя дикий человек есть, ты для меня простая баба, не понимающая. Нешто мы пара? Я вольный, балованный, гулящий, а ты работница, лапотница, в грязи живешь, спины не разгибаешь. О тебе я так понимаю, что я по охотничьей части первый человек, а ты с жалостью на меня глядишь... Где же тут пара?

— Да ведь венчаны, Егор Власыч! — всхлипывает Пелагея.

— Не волей венчаны... Нешто забыла? Графа Сергея Павлыча благодари... и себя. Граф из зависти, что я лучше его стреляю, месяц целый вином меня спаивал, а пьяного не токмо что перевенчать, но и в другую веру совратить можно. Взял и в отместку пьяного на тебе женил... Егеря на скотнице! Ты видала, что я пьяный, зачем выходила? Не крепостная ведь, могла супротив пойти! Оно, конечно, скотнице счастье за егеря выйти, да ведь надо рассуждение иметь. Ну, вот теперь и мучайся, плачь. Графу смешки, а ты плачь... бейся об стену...

Наступает молчание. Над сечей пролетают три дикие утки. Егор глядит на них и провожает их глазами до тех пор, пока они, превратившись в три едва видные точки, не опускаются далеко за лесом.

— Чем живешь? — спрашивает он, переводя глаза с уток на Пелагею.

— Таперя на работу хожу, а зимой ребеночка из воспитательного дома беру, кормлю соской. Полтора рубля в месяц дают.

— Так...

Опять молчание. С сжатой полосы несется тихая песня, которая обрывается в самом начале. Жарко петь...

— Сказывают, что вы Акулине новую избу поставили. — говорит Пелагея.

Егор молчит.

— Стало быть, она вам по сердцу...

— Счастье уж твое такое, судьба! — говорит охотник, потягиваясь. — Терпи, сирота. Но, одначе, прощай, заболтался... К вечеру мне в Болтово поспеть нужно...

Егор поднимается, потягивается и перекидывает ружье через плечо. Пелагея встает.

— А когда же в деревню придете? — спрашивает она тихо.

— Незачем. Тверезый никогда не приду, а от пьяного тебе мало корысти. Злоблюсь я пьяный...

Прощай!

— Прощайте, Егор Власыч...

Егор надевает картуз на затылок и, чмокнув собаке, продолжает свой путь. Пелагея стоит на месте и глядит ему вслед... Она видит его двигающиеся лопатки, молодецкий затылок, ленивую, небрежную поступь, и глаза ее наполняются грустью и нежной лаской... Взгляд ее бегаёт по тощей, высокой фигуре мужа и ласкает, нежит его... Он, словно чувствуя этот взгляд, останавливается и оглядывается... Молчит он, но по его лицу, по приподнятым плечам Пелагее видно, что он хочет ей сказать что-то. Она робко подходит к нему и глядит на него умоляющими глазами.

— На тебе! — говорит он, отворачиваясь.

Он подает ей истрепанный рубль и быстро отходит.

— Прощайте, Егор Власыч! — говорит она, машинально принимая рубль.

Он идет по длинной, прямой, как вытянутый ремень, дороге... Она, бледная, неподвижная, как статуя, стоит и ловит взглядом каждый его шаг. Но вот красный цвет его рубахи сливается с темным цветом брюк, шаги не видимы, собаку не отличишь от сапог. Виден только один картузик, но... вдруг Егор круто поворачивает направо в сечу и картузик исчезает в зелени.

— Прощайте, Егор Власыч! — шепчет Пелагея и поднимается на цыпочки, чтобы хоть еще раз увидеть белый картузик.

О ЛЮБВИ

На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты; и пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны.

Алехин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяница и буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так; он требовал, чтобы она шла за него, и иначе не хотел, и бранил ее, когда бывал пьян, и даже бил. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала, и тогда Алехин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить ее в случае надобности.

Стали говорить о любви.

- Как зарождается любовь, - сказал Алехин, - почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого мурло, - тут у нас все зовут его мурлом, - поскольку в любви важны вопросы личного счастья - всё это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть», всё же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее, по-моему, - это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаюсь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай.

- Совершенно верно, - согласился Буркин.

- Мы, русские, порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или нечестно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает - это я знаю.

Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать.

- Я живу в Софьине и занимаюсь хозяйством уже давно, - начал Алехин, - с тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям - кабинетный человек, но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на мое образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения. Здешняя земля дает не много, и, чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянский лад, то есть работать в поле самому, со своей семьей. Середины тут нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли, я сгонял всех мужиков и баб из соседних

деревень, работа у меня тут кипела неистовая; я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы; тело мое болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры; и «Вестник Европы» пошел тоже к поповнам, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае в санях или где-нибудь в лесной сторожке - какое уж тут чтение? Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно.

В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживешь здесь безвыездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, всё юристы, люди, получившие общее образование; было с кем поговорить. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в легких ботинках, с цепью на груди - это такая роскошь!

В городе меня принимали радушно, я охотно знакомился. И из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Его вы знаете оба: милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей; разбирательство продолжалось два дня, мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал:

- Знаете что? Пойдемте ко мне обедать.

Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минутку зашел к себе в номер, чтобы переодеться, и отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двух лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня всё было неотразимо ясно; я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоду у моей матери.

В деле поджигателей обвинили четырех евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна всё покачивала головой и говорила мужу:

- Дмитрий, как же это так?

Луганович - это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под суд, то, значит, он виноват, и что выразить сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре.

- Мы с вами не поджигали, - говорил он мягко, - и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму.

И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил; по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в

четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале весны. Затем всё лето провел я в Софьиной безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни: я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе.

Позднюю осень в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу (меня пригласили туда в антракте), смотрю - рядом с губернаторшей Анна Алексеевна, и опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых, ласковых глаз, и опять то же чувство близости.

Мы сидели рядом, потом ходили в фойе.

- Вы похудели, - сказала она. - Вы были больны?

- Да. У меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю.

- У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу.

И она засмеялась.

- Но сегодня у вас вялый вид, - повторила она. - Это вас старит.

На другой день я завтракал у Лугановичей; после завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин и молодая мать всё уходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек.

- Кто там? - слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным.

- Это Павел Константиныч, - отвечала горничная или няня.

Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала:

- Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?

Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос, шаги всякий раз производили на меня всё то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривал с няней, играл с ребенком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету, а когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нес с такою любовью, с таким торжеством, точно мальчик.

Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лугановичей хлопот, так подружились они со мной. Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю и если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания, и даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало

денег для срочного платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил:

- Если вы, Павел Константиныч, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас.

И уши краснели у него от волнения. А случилось, что точно так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне, с красными ушами, и говорил:

- Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок.

И подавал запонки, портсигар или лампу, и я за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати сказать, оба они были состоятельные люди. И? первое время я часто брал займы и был не особенно разборчив, брал, где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом!

Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него детей, - понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей; и я всё старался понять, почему она встретила именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка.

А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня; и она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти или просто если бы мы разлюбили друг друга?

И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа, как сына. Если б она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь, и она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей, - и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка.

Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришел дядя Павел Константиныч, и вешались мне на шею; все радовались. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И взрослые и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношения ко мне какую-то особую прелесть, точно

в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком; мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались, я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга. но, по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас Бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды.

В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов.

Мы молчали и всё молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно:

- Поздравляю вас.

Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила:

- Я так и знала, что вы забудете.

К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно, и я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию.

Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, - о, как мы были с ней несчастны! - я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было всё то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе.

Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались - навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, - оно было пусто, - и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком...

Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иваныч вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имени, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной; и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой

ДАМА С СОБАЧКОЙ

I

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете: за нею бежал белый шпиц.

И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по несколько раз в день. Она гуляла одна, всё в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой.

«Если она здесь без мужа и без знакомых, — соображал Гуров, — то было бы не лишнее познакомиться с ней».

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына-гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:

— Низшая раса!

Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но всё же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним.

Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и всё казалось так просто и забавно.

И вот однажды под вечер он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь... В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды, он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели, но, когда дама села за соседний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им.

Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил.

Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.

— Он не кусается, — сказала она и покраснела.

— Можно дать ему кость? — И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: — Вы давно изволили приехать в Ялту?

— Дней пять.

— А я уже дотягиваю здесь вторую неделю.

Помолчали немного.

— Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! — сказала она, не глядя на него.

— Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре — и ему не скучно, а приедет сюда: «Ах, скучно! Ах, пыль!» Подумаешь, что он из Гренады приехал.

Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом — и начался шуточный, легкий разговор людей свободных, довольных, которым всё равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома... А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С., где живет уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж, — в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной.

Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась, всё равно как теперь его дочь, вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым, — должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят, и на нее смотрят, и говорят с ней только с одной тайною целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые, серые глаза.

«Что-то в ней есть жалкое все-таки», — подумал он и стал засыпать.

II

Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться.

Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих; собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов.

По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блеснули. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку.

Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова.

— Погода к вечеру стала получше. — сказал он. — Куда же мы теперь пойдём? Не поехать ли нам куда-нибудь?

Она ничего не ответила.

Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся: не видел ли кто?

— Пойдемте к вам... — проговорил он тихо.

И оба пошли быстро.

У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, думал: «Каких только не бывает в жизни встреч!» От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое; и о таких, — как, например, его жена, — которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное; и о таких двух-трех, очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первой молодости, капризные, не рассуждающие, властные, не умные женщины, и когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую.

Но тут всё та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению. — так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.

— Нехорошо. — сказала она. — Вы же первый меня не уважаете теперь.

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании.

Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой порядочной, наивной, мало жившей женщины; одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее плохо на душе.

— Отчего бы я мог перестать уважать тебя? — спросил Гуров. — Ты сама не знаешь, что говоришь.

— Пусть Бог меня простит! — сказала она, и глаза у нее наполнились слезами. — Это ужасно.

— Ты точно оправдываешься.

— Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же, — говорила я себе, — другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить... Любопытство меня жгло... вы этого не понимаете, но, клянусь Богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна.

и поехала сюда... И здесь всё ходила, как в угаре, как безумная... и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать.

Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.

— Я не понимаю, — сказал он тихо, — что же ты хочешь?

Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему.

— Верьте, верьте мне, умоляю вас... — говорила она, — Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.

— Полно, полно... — бормотал он.

Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась к ней; стали оба смеяться.

Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души, город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но море еще шумело и билось о берег; один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик.

Нашли извозчика и поехали в Ореанду.

— Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию: на доске написано фон Дидериц, — сказал Гуров. — Твой муж немец?

— Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный.

В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки — моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, всё прекрасно на этом свете, всё, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.

Подошел какой-то человек — должно быть, сторож, — посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.

— Роса на траве, — сказала Анна Сергеевна после молчания.

— Да. Пора домой.

Они вернулись в город.

Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала всё одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно

переродили его; он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она часто задумывалась и всё просила его сознаться, что он ее не уважает, несколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад; и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы.

Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась.

— Это хорошо, что я уезжаю, — говорила она Гурову. — Это сама судьба.

Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила:

— Дайте, я погляжу на вас еще... Погляжу еще раз. Вот так.

Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало.

— Я буду о вас думать... вспоминать, — говорила она. — Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, Господь с вами.

Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума, точно всё сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытьё, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание... Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива; он был приветлив с ней и сердечен, но всё же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Всё время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным; очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит, невольно обманывал ее...

Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный.

«Пора и мне на север, — думал Гуров, уходя с платформы. — Пора!»

III

Дома в Москве уже всё было по-зимнему, топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него всё очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке...

Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти всё было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались всё сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки, слышал ли он романс или орган в ресторане, или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти всё: и то, что было на молу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкапа, из камина, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее...

И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома — не с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила:

— Тебе, Дмитрий, совсем не идет роль фата.

Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

— Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

— Дмитрий Дмитрич!

— Что?

— А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!

Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унижительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры всё об одном. Ненужные дела и разговоры всё об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!

Гуров не спал всю ночь и возмущался и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, всё сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить.

В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека, — и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно.

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения: фон Дидериц живет на Старо-Гончарной улице, в собственном доме — это недалеко от гостиницы, живет хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: Дрыдыриц.

Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскивал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.

«От такого забора убежишь», — думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор.

Он соображал: сегодня день неприсутственный, и муж, вероятно, дома. Да и всё равно, было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужу, и тогда всё можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он всё ходил по улице и около забора поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий и на него напали собаки, потом, час спустя, слышал игру на рояли, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица.

Он ходил и всё больше и больше ненавидел серый забор, и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим, и это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать, потом обедал, потом долго спал.

«Как всё это глупо и беспокойно, — думал он, проснувшись и глядя на темные окна; был уже вечер. — Вот и выспался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать?»

Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным одеялом, и дразнил себя с досадой:

«Вот тебе и дама с собачкой... Вот тебе и приключение... Вот и сиди тут».

Еще утром, на вокзале, ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами: шла в первый раз «Гейша». Он вспомнил об этом и поехал в театр.

«Очень возможно, что она бывает на первых представлениях», — думал он.

Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад; и тут, в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки; качался занавес, оркестр долго настраивался. Всё время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами.

Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал.

Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый; он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски-скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер.

В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно:

— Здравствуйте.

Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта, стало вдруг страшно, казалось, что из всех лож смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу: он — за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то опускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и всё со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал:

«О Господи! И к чему эти люди, этот оркестр...»

И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что всё кончилось и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца!

На узкой, мрачной лестнице, где было написано «Ход в амфитеатр», она остановилась.

— Как вы меня испугали! — сказала она, тяжело дыша, всё еще бледная, ошеломленная. — О, как вы меня испугали! Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?

— Но поймите, Анна, поймите... — проговорил он вполголоса, торопясь. — Умоляю вас, поймите...

Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью, глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты.

— Я так страдаю! — продолжала она, не слушая его. — Я всё время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть, но зачем, зачем вы приехали?

Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову было всё равно, он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки.

— Что вы делаете, что вы делаете! — говорила она в ужасе, отстраняя его от себя. — Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас... Заклинаю вас всем святым, умоляю... Сюда идут!

По лестнице снизу вверх кто-то шел.

— Вы должны уехать... — продолжала Анна Сергеевна шепотом. — Слышите, Дмитрий Дмитрич? Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся!

Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, всё оглядываясь на него, и по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался, потом, когда всё утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра.

IV

И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца она уезжала из С. и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни, — и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом.

Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был у него накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.

— Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег, — говорил Гуров дочери. — Но ведь это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.

— Папа, а почему зимой не бывает грома?

Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая — протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайному, всё, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, всё же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилей, — всё это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в «Славянский базар». Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера; она была бледна, глядела на него и не улыбалась, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два, поцелуй их был долгий, длительный.

— Ну, как живешь там? — спросил он. — Что нового?

— Погоди, сейчас скажу... Не могу.

Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам.

«Ну, пускай поплачет, а я пока посижу», — подумал он и сел в кресло.

Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю; и потом, когда пил чай, она всё стояла, отвернувшись к окну... Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры! Разве жизнь их не разбита?

— Ну, перестань! — сказал он.

Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему всё сильнее, обожала его, и было бы немислимо сказать ей, что всё это должно же иметь когда-нибудь конец; да она бы и не поверила этому.

Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале.

Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходил, расставался, но ни разу не любил; было всё что угодно, но только не любовь.

И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил, как следует, по-настоящему — первый раз в жизни.

Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали всё в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих.

Прежде, в грустные минуты, он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным...

— Перестань, моя хорошая, — говорил он. — Поплакала — и будет... Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.

Потом они долго советовались, говорили о том, как избавиться себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут?

— Как? Как? — спрашивал он, хватая себя за голову. — Как?

И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается.

ОГНИ

За дверь тревожно залаяла собака. Инженер Ананьев, его помощник студент фон Штенберг и я вышли из барака посмотреть, на кого она лает. Я был гостем в бараке и мог бы не выходить, но, признаться, от выпитого вина у меня немножко кружилась голова, и я рад был подышать свежим воздухом.

— Никого нет... — сказал Ананьев, когда мы вышли. — Что ж ты врешь, Азорка? Дурак!

Кругом не было видно ни души. Дурак Азорка, черный дворовый пес, желая, вероятно, извиниться перед нами за свой напрасный лай, несмело подошел к нам и завил хвостом. Инженер нагнулся и потрогал его между ушей.

— Что ж ты, тварь, понапрасну лаешь? — сказал он тоном, каким добродушные люди разговаривают с детьми и с собаками. — Нехороший сон увидел, что ли? Вот, доктор, рекомендую вашему вниманию, — сказал он, обращаясь ко мне, — удивительно нервный субъект! Можете себе представить, не выносит одиночества, видит всегда страшные сны и страдает кошмарами, а когда прикрикнешь на него, то с ним делается что-то вроде истерики.

— Да, деликатный пес... — подтвердил студент.

Азорка, должно быть, понял, что разговор идет о нем; он поднял морду и жалобно заскулил, как будто хотел сказать: «Да, временами я невыносимо страдаю, но вы, пожалуйста, извините!»

Ночь была августовская, звездная, но темная. Оттого, что раньше я никогда в жизни не находился при такой исключительной обстановке, в какую попал случайно теперь, эта звездная ночь казалась мне глухой, неприветливой и темнее, чем она была на самом деле. Я был на линии железной дороги, которая еще только строилась. Высокая, наполовину готовая насыпь, кучи песку, глины и щебня, бараки, ямы, разбросанные кое-где тачки, плоские возвышения над землянками, в которых жили рабочие, — весь этот ералаш, выкрашенный потемками в один цвет, придавал земле какую-то странную, дикую физиономию, напоминавшую о временах хаоса. Во всем, что лежало передо мной, было до того мало порядка, что среди безобразно изрытой, ни на что не похожей земли как-то странно было видеть силуэты людей и стройные телеграфные столбы; те и другие портили ансамбль картины и казались не от мира сего. Было тихо, и только слышалось, как над нашими головами, где-то очень высоко, телеграф гудел свою скучную песню.

Мы взобрались на насыпь и с ее высоты взглянули на землю. В саженях пятидесяти от нас, там, где ухабы, ямы и кучи сливались всплошную с ночною мглой, мигал тусклый огонек. За ним светился другой огонь, за этим третий, потом, отступя шагов сто, светились рядом два красных глаза — вероятно, окна какого-нибудь барака — и длинный ряд таких огней, становясь всё гуще и тусклее, тянулся по линии до самого горизонта, потом полукругом поворачивал влево и исчезал в далекой мгле. Огни были неподвижны. В них, в ночной тишине и в унылой песне телеграфа чувствовалось что-то общее. Казалось, какая-то важная тайна была зарыта под насыпью, и о ней знали только огни, ночь и проволоки...

— Экая благодать, Господи! — вздохнул Ананьев. — Столько простора и красоты, что хоть отбавляй! А какова насыпь-то! Это, батенька, не насыпь, а целый Монблан! Миллионы стоит...

Восхищаясь огнями и насыпью, которая стоит миллионы, охмелевший от вина и сентиментально настроенный инженер похлопал по плечу студента фон Штенберга и продолжал в шутовом тоне:

— Что, Михайло Михайлыч, призадумались? Небось, приятно поглядеть на дела рук своих? В прошлом году на этом самом месте была голая степь, человечьим духом не пахло, а теперь поглядите: жизнь, цивилизация! И как всё это хорошо, ей-Богу! Мы с вами железную дорогу строим, а после нас,

этак лет через сто или двести, добрые люди настроят здесь фабрик, школ, больниц и — закипит машина! А?

Студент стоял неподвижно, засунув руки в карманы, и не отрывал глаз от огней. Он не слушал инженера, о чем-то думал и, по-видимому, переживал то настроение, когда не хочется ни говорить, ни слушать. После долгого молчания он обернулся ко мне и сказал тихо:

— Знаете, на что похожи эти бесконечные огни? Они вызывают во мне представление о чем-то давно умершем, жившем тысячи лет тому назад, о чем-то вроде лагеря амалекитян или филистимлян. Точно какой-то ветхозаветный народ расположился станом и ждет утра, чтобы подраться с Саулом или Давидом. Для полноты иллюзии не хватает только трубных звуков, да чтобы на каком-нибудь эфиопском языке перекликивались часовые.

— Пожалуй... — согласился инженер.

И, как нарочно, по линии пробежал ветер и донес звук, похожий на бряцание оружия. Наступило молчание. Не знаю, о чем думали теперь инженер и студент, но мне уж казалось, что я вижу перед собой действительно что-то давно умершее и даже слышу часовых, говорящих на непонятном языке. Воображение мое спешило нарисовать палатки, странных людей, их одежду, доспехи...

— Да, — пробормотал студент в раздумье. — Когда-то на этом свете жили филистимляне и амалекитяне, вели войны, играли роль, а теперь их и след простыл. Так и с нами будет. Теперь мы строим железную дорогу, стоим вот и философствуем, а пройдут тысячи две лет, и от этой насыпи и от всех этих людей, которые теперь спят после тяжелого труда, не останется и пыли. В сущности, это ужасно!

— А вы эти мысли бросьте... — сказал инженер серьезно и наставительно.

— Почему?

— А потому... Такими мыслями следует оканчивать жизнь, а не начинать. Вы еще слишком молоды для них.

— Почему же? — повторил студент.

— Все эти мысли о бренности и ничтожестве, о бесцельности жизни, о неизбежности смерти, о загробных потемках и проч., все эти высокие мысли, говорю я, душа моя, хороши и естественны в старости, когда они являются продуктом долгой внутренней работы, выстраданы и в самом деле составляют умственное богатство; для молодого же мозга, который едва только начинает самостоятельную жизнь, они просто несчастье! Несчастье! — повторил Ананьев и махнул рукой. — По-моему, в ваши годы лучше совсем не иметь головы на плечах, чем мыслить в таком направлении. Я вам, барон, серьезно говорю. И давно уж я собирался поговорить с вами об этом, так как еще с первого дня нашего знакомства заметил в вас пристрастие к этим анафемским мыслям!

— Господи, да почему же они анафемские? — спросил, улыбаясь, студент, и по его голосу и по лицу было заметно, что он отвечает только из простой вежливости и что спор, затеваемый инженером, несколько не интересует его.

Глаза мои слипались. Я мечтал, что тотчас же после прогулки мы пожелаем друг другу покойной ночи и ляжем спать, но мечта моя сбылась не скоро. Когда мы вернулись в барак, инженер убрал пустые бутылки под кровать, достал из большого плетеного ящика две полные и, раскупорив их, сел за свой рабочий стол с очевидным намерением продолжать пить, говорить и работать. Отхлебывая понемножку из стакана, он делал карандашом пометки на каких-то чертежах и продолжал доказывать студенту, что тот мыслит неподобающим образом. Студент сидел рядом с ним, проверял какие-то счета и молчал. Ему, как и мне, не хотелось ни говорить, ни слушать. Я, чтобы не мешать

людям работать и ожидая каждую минуту, что мне предложат лечь в постель, сидел в стороне от стола на походной кривоногой кровати инженера и скучал. Был первый час ночи.

От нечего делать я наблюдал своих новых знакомых. Ни Ананьева, ни студента я никогда не видел раньше и познакомился с ними только в описываемую ночь. Поздно вечером я возвращался верхом с ярмарки к помещику, у которого гостил, попал в потемках не на ту дорогу и заблудился. Кружась около линии и видя, как густеет темная ночь, я вспомнил о «босоногой чугунке», подстерегающей пешего и конного, струсил и постучался в первый попавшийся барак. Тут меня радушно встретили Ананьев и студент. Как это бывает с людьми чужими друг другу, сошедшимися случайно, мы быстро познакомились, подружились и сначала за чаем, потом за вином уже чувствовали себя так, как будто были знакомы целые годы. Через какой-нибудь час я уже знал, кто они и как судьба занесла их из столицы в далекую степь, а они знали, кто я, чем занимаюсь и как мыслю.

Инженер Ананьев, Николай Анастасьевич, был плотен, широк в плечах и, судя по наружности, уже начинал, как Отелло, «опускаться в долину преклонных лет» и излишне полнеть. Он находился в той самой поре, которую свахи называют «мужчина в самом соку», то есть не был ни молод, ни стар, любил хорошо поесть, выпить и похвалить прошлое, слегка задыхался при ходьбе, во сне громко храпел, а в обращении с окружающими проявлял уже то спокойное, невозмутимое добродушие, какое приобретает порядочными людьми, когда они переваливают в штаб-офицерские чины и начинают полнеть. Его голове и бороде далеко еще было до седых волос, но он уж как-то невольно, сам того не замечая, снисходительно величал молодых людей «душа моя» и чувствовал себя как бы вправе добродушно журить их за образ мыслей. Движения его и голос были покойны, плавны, уверенны, как у человека, который отлично знает, что он уже выбился на настоящую дорогу, что у него есть определенное дело, определенный кусок хлеба, определенный взгляд на вещи... Его загорелое, толстоносое лицо и мускулистая шея как бы говорили: «Я сыт, здоров, доволен собой, а придет время, и вы, молодые люди, будете тоже сыты, здоровы и довольны собой...» Одет он был в ситцевую рубаху с косым воротом и в широкие полотняные панталоны, засунутые в большие сапоги. По некоторым мелочам, как, например, по цветному гарусному пояску, вышитому вороту и латочке на локте, я мог догадаться, что он был женат и, по всей вероятности, нежно любим своей женой.

Барон фон Штенберг, Михаил Михайлович, студент института путей сообщения, был молод, лет 23—24. Только одни русые волосы и жидкая бородка, да, пожалуй, еще некоторая грубость и сухость черт лица напоминали о его происхождении от остзейских баронов, всё же остальное — имя, вера, мысли, манеры и выражение лица были у него чисто русские. Одетый так же, как и Ананьев, в ситцевую рубаху навывпуск и в большие сапоги, сутуловатый, давно не стриженный, загорелый, он походил не на студента, не на барона, а на обыкновенного российского подмастерья. Говорил и двигался он мало, вино пил нехотя, без аппетита, счета проверял машинально и всё время, казалось, о чем-то думал. Движения и голос его также были покойны и плавны, но его покой был совсем иного рода, чем у инженера. Загорелое, слегка насмешливое, задумчивое лицо, его глядевшие немножко исподлобья глаза и вся фигура выражали душевное затишье, мозговую лень... Он глядел так, как будто бы для него было решительно всё равно, горит ли перед ним огонь, или нет, вкусно ли вино, или противно, верны ли счета, которые он проверял, или нет... И на его умном, спокойном лице я читал: «Ничего я пока не вижу хорошего ни в определенном деле, ни в определенном куске хлеба, ни в определенном взгляде на вещи. Всё это вздор. Был я в Петербурге, теперь сижу здесь в бараке, отсюда осенью уеду опять в Петербург, потом весной опять сюда... Какой из всего этого выйдет толк, я не знаю, да и никто не знает... Стало быть, и толковать нечего...»

Инженера слушал он без интереса, с тем снисходительным равнодушием, с каким кадеты старших классов слушают расхордившегося добряка-дядьку. Казалось, что всё сказанное инженером было для него не ново и что если бы ему самому было не лень говорить, то он сказал бы нечто более новое и умное. Ананьев же между тем не унимался. Он уж оставил добродушно-шутливый тон и

говорил серьезно, даже с увлечением, которое совсем не шло к его выражению покоя. По-видимому, он был неравнодушен к отвлеченным вопросам, любил их, но трактовать их не умел и не привык. И эта непривычка так сильно сказывалась в его речи, что я не сразу понял, чего он хочет.

— Всею душой ненавижу эти мысли! — говорил он. — Я сам был болен ими в юности, теперь еще не совсем избавился от них и скажу вам. — может быть, оттого, что я глуп и что эти мысли были для меня не по коню корм. — они не принесли мне ничего, кроме зла. Это так понятно! Мысли о беспечности жизни, о ничтожестве и бренности видимого мира, соломоновская «суета сует» составляли и составляют до сих пор высшую и конечную ступень в области человеческого мышления. Дошел мыслитель до этой ступени и — стоп машина! Дальше идти некуда. Этим завершается деятельность нормального мозга, что естественно и в порядке вещей. Наше же несчастье в том, что мы начинаем мыслить именно с этого конца. Чем нормальные люди кончают, тем мы начинаем. Мы с первого же абцуга, едва только мозг начинает самостоятельную работу, взбираемся на самую высшую, конечную ступень и знать не хотим тех ступеней, которые ниже.

— Чем же это худо? — спросил студент.

— Да поймите же, что это ненормально! — крикнул Ананьев, поглядев на него почти со злобой. — Если мы нашли способ взбираться на верхнюю ступень без помощи нижних, то уж вся длинная лестница, то есть вся жизнь с ее красками, звуками и мыслями, теряет для нас всякий смысл. Что в ваши годы такое мышление составляет зло и абсурд, вы можете понять из каждого шага вашей разумной, самостоятельной жизни. Положим, что сию вот минуту вы садитесь читать какого-нибудь Дарвина или Шекспира. Едва прочли вы одну страницу, как отравла начинает уж сказываться: и ваша длинная жизнь, и Шекспир, и Дарвин представляются вам вздором, нелепостью, потому что вы знаете, что вы умрете, что Шекспир и Дарвин тоже умерли, что их мысли не спасли ни их самих, ни земли, ни вас, и что если, таким образом, жизнь лишена смысла, то все эти знания, поэзия и высокие мысли являются только ненужной забавой, праздной игрушкой взрослых детей. И вы прекращаете чтение на второй же странице. Теперь, положим, к вам, как к умному человеку, приходят люди и спрашивают вашего мнения, например, хоть о войне: желательна, нравственна она или нет? В ответ на этот страшный вопрос вы только пожмете плечами и ограничитесь каким-нибудь общим местом, потому что для вас, при вашей манере мыслить, решительно всё равно, умрут ли сотни тысяч людей насильственной или же своей смертью: в том и в другом случае результаты одни и те же — прах и забвение. Строим мы с вами железную дорогу. К чему, спрашивается, нам ломать головы, изобретать, возвышаться над шаблоном, жалеть рабочих, красть или не красть, если мы знаем, что эта дорога через две тысячи лет обратится в пыль? И так далее, и так далее... Согласитесь, что при таком несчастном способе мышления невозможен никакой прогресс, ни науки, ни искусства, ни само мышление. Нам кажется, что мы умнее толпы и Шекспира, в сущности же наша мыслительская работа сводится на ничто, так как спускаться на нижние ступени у нас нет охоты, а выше идти некуда, так и стоит наш мозг на точке замерзания — ни тпру, ни ну... Я находился под гнетом этих мыслей около шести лет и, клянусь вам Богом, за всё это время я не прочел ни одной путевой книги, не стал умнее ни на грош и ни на одну букву не обогатил своего нравственного кодекса. Разве это не несчастье? Засим, мало того, что мы сами отравлены, но мы еще вносим отраву в жизнь окружающих нас. Добро бы, мы со своим пессимизмом отказывались от жизни, уходили бы в пещеры или спешили умереть, а то ведь мы, покорные общему закону, живем, чувствуем, любим женщин, воспитываем детей, строим дороги!

— От наших мыслей никому ни тепло, ни холодно... — сказал студент нехотя.

— Нет, уж это вы — ах, оставьте! Вы еще не нюхали, как следует, жизни, а вот как поживете с мое, батенька, так и узнаете кузькину мать! Наше мышление не так невинно, как вы думаете. В практической жизни, в столкновениях с людьми оно ведет только к ужасам и глупостям. Мне приходилось переживать такие положения, каких я злому татарину не пожелаю.

— Например? — спросил я.

— Например? — переспросил инженер; он подумал, улыбнулся и сказал: — Например, взять хоть такой случай. Вернее, это не случай, а целый роман с завязкой и развязкой. Прекраснейший урок! Ах, какой урок!

Он налил вина нам и себе, выпил, погладил ладонями свою широкую грудь и продолжал, обращаясь больше ко мне, чем к студенту:

«Это было летом 187... года, вскоре после войны и по окончании мною курса. Я поехал на Кавказ и остановился проездом дней на пять в приморском городе N. Надо вам сказать, что в этом городе я родился и вырос, а потому нет ничего мудреного, что N. казался мне необыкновенно уютным, теплым и красивым, хотя столичному человеку живется в нем так же скучно и неуютно, как в любой Чухломе или Кашире. С грустью прошелся я мимо гимназии, в которой учился, с грустью погулял по очень знакомому городскому саду, сделал грустную попытку посмотреть поближе людей, которых давно не видел, но помнил... Всё с грустью...

Между прочим, в один из вечеров поехал я в так нарываемый Карантин. Это небольшая, плешивая рощица, в которой когда-то в забытое чумное время в самом деле был карантин, теперь же живут дачники. Ехать к ней приходится от города четыре версты по хорошей, мягкой дороге. Едешь и видишь: налево голубое море, направо бесконечную хмурую степь; дышится легко и глазам не тесно. Сама рощица расположена на берегу моря. Отпустив своего извозчика, я вошел в знакомые ворота и первым делом направился по аллее к небольшой каменной беседке, которую любил в детстве. По моему мнению, эта круглая, тяжелая беседка на неуклюжих колоннах, соединявшая в себе лиризм старого могильного памятника с топорностью Собакевича, была самым поэтическим уголком во всем городе. Она стояла на краю берега, над самой кручей, и с нее отлично было видно море.

Я сел на скамью и, перегнувшись через перила, поглядел вниз. От беседки по крутому, почти отвесному берегу, мимо глиняных глыб и репейника бежала тропинка; там, где она кончалась, далеко внизу у песчаного побережья лениво пенились и нежно мурлыкали невысокие волны. Море было такое же величавое, бесконечное и неприветливое, как семь лет до этого, когда я, кончив курс в гимназии, уезжал из родного города в столицу; вдали темнела полоска дыма — это шел пароход, и, кроме этой едва видимой и неподвижной полоски да мартышек, которые мелькали над водой, ничто не оживляло монотонной картины моря и неба. Направо и налево от беседки тянулись неровные глинистые берега...

Вы знаете, когда грустно настроенный человек остается один на один с морем или вообще с ландшафтом, который кажется ему грандиозным, то почему-то к его грусти всегда примешивается уверенность, что он проживет и погибнет в безвестности, и он рефлексивно хватается за карандаш и спешит записать на чем попало свое имя. Потому-то, вероятно, все одинокие, укромные уголки, вроде моей беседки, всегда бывают испачканы карандашами и изрезаны перочинными ножами. Как теперь помню, оглядывая перила, я прочел: „О. П. (то есть оставил память) Иван Корольков 16 мая 1876 года“. Тут же рядом с Корольковым расписался какой-то местный мечтатель и еще добавил: „На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн“. И почерк у него был мечтательный, вялый, как мокрый шелк. Какой-то Кросс, вероятно, очень маленький и незначительный человек, так сильно прочувствовал свое ничтожество, что дал волю перочинному ножу и изобразил свое имя глубокими, вершковыми буквами. Я машинально достал из кармана карандаш и тоже расписался на одной из колонн. Впрочем, всё это дела не касается... Простите, я не умею рассказывать коротко.

Я грустил и немножко скучал. Скука, тишина и мурлыканье волн мало-помалу навели меня на то самое мышление, о котором мы только что говорили. Тогда, в конце семидесятых годов, оно начинало входить в моду у публики и потом в начале восьмидесятых стало понемногу переходить из публики в литературу, в науку и политику. Мне было тогда не больше 26 лет, но я уж отлично знал, что жизнь беспельна и не имеет смысла, что всё обман и иллюзия, что по существу и результатам

каторжная жизнь на острове Сахалине ничем не отличается от жизни в Ницце, что разница между мозгом Канта и мозгом мухи не имеет существенного значения, что никто на этом свете ни прав, ни виноват, что всё вздор и чепуха и что ну его всё к чёрту! Я жил и как будто делал этим одолжение неведомой силе, заставляющей меня жить: на, мол, смотри, сила, ставлю жизнь ни в грош, а живу! Мыслил я в одном определенном направлении, но на всевозможные лады, и в этом отношении походил на того тонкого гастронома, который из одного картофеля умел готовить сотню вкусных блюд. Несомненно, что я был односторонен и до некоторой степени даже узок, но мне тогда казалось, что мой мыслительный горизонт не имеет ни начала, ни конца и что мысль моя широка, как море. Ну-с, насколько я могу судить по себе, мышление, о котором идет речь, содержит в своей сути что-то втягивающее, наркотическое, как табак или морфий. Оно становится привычкой, потребностью. Каждой минутой одиночества и каждым удобным случаем вы пользуетесь для того, чтобы посласластничать мыслями о бесцельной жизни и загробных потемках. Когда я сидел в беседке, то по аллее чинно прогуливались греческие дети с длинными носами. Я воспользовался сим удобным случаем и, оглянувшись на них, стал думать в таком роде: „К чему, спрашивается, рождаются и живут вот эти самые дети? Есть ли хоть какой-нибудь смысл в их существовании? Вырастут, сами не зная для чего, проживут в этой глуши без всякой надобности и помрут...“

И мне даже стало досадно на этих детей за то, что они чинно ходят и о чем-то солидно разговаривают, как будто в самом деле недешево ценят свои маленькие, бесцветные жизни и знают, для чего живут... Помню, далеко в конце аллеи показались три женские фигуры. Какие-то барышни — одна в розовом платье, две в белом — шли рядом, взявшись под руки, о чем-то говорили и смеялись. Провожая их глазами, я думал: „Хорошо бы теперь от скуки дня на два сойтись тут с какой-нибудь женщиной!“

Я кстати вспомнил, что у своей петербургской барыни в последний раз я был три недели тому назад, и подумал, что мимолетный роман был бы для меня теперь очень кстати. Средняя барышня в белом казалась моложе и красивее своих подруг и, судя по манерам и смеху, была гимназисткой старшего класса. Я не без нечистых мыслей глядел на ее бюст и в то же время думал о ней: „Выучится музыке и манерам, выйдет замуж за какого-нибудь, прости Господи, грека-пиндоса, проживет серо и глупо, без всякой надобности, народит, сама не зная для чего, кучу детей и умрет. Нелепая жизнь!“

Вообще, надо сказать, я был мастером комбинировать свои высокие мысли с самой низменной прозой. Мысли о загробных потемках не мешали мне отдавать должную дань бюстам и ножкам. Нашему милому барону его высокопробные мысли тоже нисколько не мешают ездить по субботам в Вуколовку и совершать там донжуанские набеги. Говоря по совести, насколько я себя помню, отношения мои к женщинам были самые оскорбительные. Теперь вот, вспомнив о гимназистке, я покраснел за свои тогдашние мысли, тогда же совесть моя была совершенно покойна. Я, сын благородных родителей, христианин, получивший высшее образование, по природе не злой и не глупый, не чувствовал ни малейшего беспокойства, когда платил женщинам, как говорят немцы, Blutgeld или когда провожал гимназисток оскорбительными взглядами... Беда в том, что молодость имеет свои права, а наше мышление в принципе ничего не имеет против этих прав, хороши ли они или отвратительны. Кто знает, что жизнь бесцельна и смерть неизбежна, тот очень равнодушен к борьбе с природой и к понятию о грехе: борись или не борись — всё равно умрешь и сгниешь... Во-вторых, судари мои, наше мышление поселяет даже в очень молодых людях так называемую рассудочность. Преобладание рассудка над сердцем у нас подавляющее. Непосредственное чувство, вдохновение — всё заглушено мелочным анализом. Где же рассудочность, там холодность, а холодные люди — нечего греха таить — не знают целомудрия. Эта добродетель знакома только тем, кто тепел, сердечен и способен любить. В-третьих, наше мышление, отрицая смысл жизни, тем самым отрицает и смысл каждой отдельной личности. Понятно, что если я отрицаю личность какой-нибудь Натальи

Степановны, то для меня решительно всё равно, оскорблена она или нет. Сегодня оскорбил ее человеческое достоинство, заплатил ей Blutgeld, а завтра уж и не помнишь о ней.

Итак, я сидел в беседке и наблюдал барышень. На аллее показалась еще одна женская фигура с непокрытой белокурой головой и с белым вязаным платком на плечах. Она погуляла по аллее, потом вошла в беседку и, взявшись за перила, равнодушно поглядела вниз и вдаль на море. Войдя, она не обратила на меня никакого внимания, точно не заметила. Я оглядел ее с ног до головы (но не с головы до ног, как оглядывают мужчин) и нашел, что она молода, не старше 25 лет, миловидна, хорошо сложена, по всей вероятности, уже не барышня и принадлежит к разряду порядочных. Одета она была по-домашнему, но модно и со вкусом, как вообще одеваются в N. все интеллигентные барыни.

„Вот с этой бы сойтись... — подумал я, оглядывая ее красивую талию и руки. — Ничего себе... Должно быть, супруга какого-нибудь эскулапа или учителя гимназии...“

Но сойтись с ней, то есть сделать ее героиней одного из тех экспромтных романов, до которых так падки туристы, было не легко и едва ли возможно. Это почувствовал я, всмотревшись в ее лицо. Она так глядела и имела такое выражение, как будто море, дымок вдали и небо давно уже надоели ей и утомили ее зрение; она, по-видимому, устала, скучала, думала о чем-то невеселом, и на ее лице не было даже того суетного, натянуто-равнодушного выражения, какое бывает почти у всякой женщины, когда она чувствует вблизи себя присутствие незнакомого мужчины.

Блондинка мельком и скучающе взглянула на меня, села на скамью и о чем-то задумалась, и я по ее взгляду понял, что ей не до меня и что я со своею столичной физиономией не возбудил в ней даже простого любопытства. Но я все-таки решил заговорить с ней и спросил:

— Сударыня, позвольте вас спросить, в котором часу уходят отсюда в город линейки?

— Кажется, в десять, или в одиннадцать...

Я поблагодарил. Она взглянула на меня раз-другой, и на ее бесстрастном лице мелькнуло вдруг любопытство, потом что-то похожее на удивление... Я поспешил придать себе равнодушное выражение и принять подобающую позу: клюет! Она, точно ее что-то больно укусило, вдруг поднялась со скамьи, кротко улыбнулась и, торопливо оглядывая меня, спросила робко:

— Послушайте, вы, бывает, не Ананьев?

— Да, я Ананьев... — ответил я.

— А меня вы не узнаете? Нет?

Я немножко смутился, пристально поглядел на нее и, можете себе представить, узнал ее не по лицу, не по фигуре, а по кроткой, усталой улыбке. Это была Наталья Степановна, или, как ее называли, Кисочка, та самая, в которую я был по уши влюблен 7—8 лет назад, когда еще носил гимназический мундир. Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой... Я помню эту Кисочку маленькой, худенькой гимназисточкой 15—16 лет, когда она изображала из себя нечто в гимназическом вкусе, созданное природой специально для платонической любви. Что за прелесть девочка! Бледненькая, хрупкая, легкая, — кажется, дуньте на нее, и она улетит, как пух, под самые небеса — лицо кроткое, недоумевающее, ручки маленькие, волосы длинные до пояса, мягкие, талия тонкая, как у осы, — в общем нечто эфирное, прозрачное, похожее на лунный свет, одним словом, с точки зрения гимназиста, красота неописанная... Я влюблен был в нее — во как! Ночей не спал, стихи писал... Бывало, по вечерам она сидела в городском саду на скамье, а мы, гимназисты, толпились около нее и благоговеино созерцали... В ответ на все наши комплименты, позы и вздохи она нервно пожималась от вечерней сырости, жмурилась да кротко улыбалась, и в это время ужасно походила на маленького хорошенького котеночка; когда мы созерцали ее, всякому из нас приходило желание приласкать ее и погладить, как кошку, — отсюда прозвище Кисочка.

За семь-восемь лет, пока мы не виделись, Кисочка сильно изменилась. Она стала мужественнее, полнее и совсем утратила сходство с мягким, пушистым котенком. Черты ее не то чтобы постарели или поблекли, а как будто потускнели и стали строже, волосы казались короче, рост выше, плечи почти вдвое шире, а главное, на лице было уже выражение материнства и покорности, какое бывает у порядочных женщин в ее годы и какого я раньше, конечно, не видел у нее... Одним словом, от прежнего гимназического и платонического уцелела одна только кроткая улыбка и больше ничего...

Мы разговорились. Узнавши, что я уже инженер, Кисочка ужасно обрадовалась.

— Как это хорошо! — сказала она, радостно заглядывая мне в глаза. — Ах, как хорошо! И какие вы все молодцы! Из всего вашего выпуска нет ни одного неудачника, из всех люди вышли. Один инженер, другой доктор, третий учитель, четвертый, говорят, теперь знаменитый певец в Петербурге... Все, все вы молодцы! Ах, как это хорошо!

В глазах Кисочки светились искренняя радость и доброжелательство. Она любовалась мной, как старшая сестра или бывшая учительница. А я глядел на ее милое лицо и думал: „Хорошо бы сегодня сойтись с ней!“

— Помните, Наталья Степановна, — спросил я, — как я однажды в саду поднес вам букет с записочкой? Вы прочли мою записочку и по вашему лицу разлилось такое недоумение...

— Нет, этого не помню, — сказала она, засмеявшись. — А вот помню, как вы из-за меня хотели вызвать Флоренса на дуэль...

— Ну, а я этого, представьте, не помню...

— Да, что было, то прошло... — вздохнула Кисочка. — Когда-то я у вас была божком, а теперь наступила моя очередь глядеть на всех вас снизу вверх...

Из дальнейшего разговора я узнал, что Кисочка года через два после окончания курса в гимназии вышла замуж за одного местного обывателя, полугрека-полу-русского, служащего не то в банке, не то в страховом обществе и в то же время занимающегося пшеничной торговлей. Фамилия у него была какая-то мудреная, что-то вроде Популаки или Скарандопуло... Чёрт его знает, забыл... Вообще о себе Кисочка говорила мало и неохотно. Разговор шел только обо мне. Она расспрашивала меня об институте, о моих товарищах, о Петербурге, о моих планах, и всё, что я говорил, возбуждало в ней живую радость и восклицание: „Ах, как это хорошо!“

Мы спустились вниз к морю, погуляли по песку, потом, когда с моря повеяло вечерней сыростью, вернулись наверх. Всё время разговор шел обо мне и о прошлом. Гуляли мы до тех пор, пока в окнах дач не стали гаснуть отражения вечерней зари.

— Пойдемте ко мне чай пить, — предложила мне Кисочка. — Должно быть, самовар давно уже на столе... Я дома одна, — сказала она, когда сквозь зелень акаций показалась ее дача. — Муж всегда в городе и возвращается только ночью, да и то не каждый день, и у меня, признаться, такая скука, что просто смерть.

Я шел за ней, любовался ее спиной и плечами. Мне было приятно, что она замужем. Для мимолетных романов замужние представляют более подходящий материал, чем барышни. Приятно также было мне, что ее мужа нет дома... Но в то же время я чувствовал, что роману не быть...

Мы вошли в дом. Комнаты у Кисочки были невелики, с низкими потолками, мебель дачная (а на дачах русский человек любит мебель неудобную, тяжелую, тусклую, которую и выбросить жалко и девать некуда), но по некоторым мелочам все-таки можно было заметить, что Кисочка с супругом жила не бедно и проживала тысяч пять-шесть в год. Помню, посреди комнаты, которую Кисочка назвала столовой, стоял круглый стол почему-то на шести ножках, на нем самовар и чашки, а на краю стола лежали раскрытая книга, карандаш и тетрадка. Я заглянул в книжку и узнал в ней

арифметический задачник Малинина и Буренина. Раскрыта она была, как теперь помню, на „правилах товарищества“.

— Это вы с кем занимаетесь? — спросил я Кисочку.

— Ни с кем... — ответила она. — Это я так... От скуки и от нечего делать, старину вспоминаю, задачи решаю.

— У вас есть дети?

— Был один мальчик, но прожил неделю и умер.

Стали пить чай. Любуясь мной, Кисочка опять заговорила о том, как хорошо, что я инженер, и как она рада моим успехам. И чем больше она говорила и чем искреннее улыбалась, тем сильнее становилась во мне уверенность, что я уеду от нее не солоно хлебавши. Я тогда уже был специалистом по части романов и умел верно взвешивать свои шансы на успех или неуспех. Вы смело можете рассчитывать на успех, если охотитесь на дуру или на такую же искательницу приключений и ощущений, как вы сами, или женщину-пройдоху, для которой вы чужды. Если же вы встречаете женщину неглупую и серьезную, лицо которой выражает усталую покорность и доброжелательство, которая искренно радуется вашему присутствию, а главное — уважает вас, то можете поворачивать назад оглобли. Тут, чтобы иметь успех, нужен более продолжительный срок, чем один день.

А Кисочка при вечернем освещении казалась еще интереснее, чем днем. Она мне нравилась всё больше и больше, я тоже, по-видимому, был симпатичен ей. Да и обстановка была самая подходящая для романа: мужа нет дома, прислуги не видно, кругом тишина... Как ни мало я верил в успех, но все-таки порешил на всякий случай начать атаку. Прежде всего нужно было перейти на фамильярный тон и лирически-серьезное настроение Кисочки сменить на более легкое...

— Давайте, Наталья Степановна, переменим разговор, — начал я. — Поговоримте о чем-нибудь веселом... Прежде всего позвольте мне по старой памяти величать вас Кисочкой.

Она позволила.

— Скажите, пожалуйста, Кисочка, — продолжал я, — какая это муха укусила весь здешний прекрасный пол? Что с ним поделалось? Прежде все были такие нравственные, добродетельные, а теперь, помилуйте, про кого ни спросишь, про всех говорят такое, что просто за человека страшно... Одна барышня с офицером бежала, другая бежала и увлекла с собой гимназиста, третья, барыня, уехала от мужа с актером, четвертая от мужа ушла к офицеру, и так далее, и так далее... Целая эпидемия! Этак, пожалуй, в вашем городе скоро не останется ни одной барышни и ни одной молодой жены!

Я говорил пошлым, заигрывающим тоном. Если бы в ответ мне Кисочка засмеялась, то я продолжал бы в таком роде: „О, смотрите Кисочка, как бы вас здесь не похитил какой-нибудь офицер или актер!“ Она опустила бы глазки и сказала: „Кому придет охота похищать меня такую? Есть помоложе и красивее...“ А я бы ей: „Полноте, Кисочка, да я бы первый с наслаждением похитил вас!“ И так далее в таком роде, и в конце концов дело мое было бы в шляпе. Но в ответ мне Кисочка не засмеялась, а, напротив, сделала серьезное лицо и вздохнула.

— Всё это, что рассказывают, правда... — сказала она. — С актером уехала от мужа моя двоюродная сестра Соня. Конечно, это нехорошо... Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено, но я не осуждаю их и не виню... Обстоятельства бывают иногда сильнее человека!

— Это так, Кисочка, но какие же обстоятельства могли породить целую эпидемию?

— Очень просто и понятно... — сказал Кисочка, поднимая брови. — У нас интеллигентным девушкам и женщинам решительно некуда деваться. Уезжать на курсы или поступать в учительницы,

вообще жить идеями и целями, как мужчины живут, не всякая может. Надо выходить замуж... А за кого прикажете? Вы, мальчики, кончаете курс в гимназии и уезжаете в университет, чтобы больше никогда не возвращаться в родной город, и женитесь в столицах, а девочки остаются!.. За кого же им прикажете выходить? Ну, за неимением порядочных, развитых людей, и выходят Бог знает за кого, за разных маклеров да пиндóсов, которые только и умеют, что пить да в клубе скандалничать... Выходят девушки так, зря... Какая же после этого жизнь? Сами понимаете, женщина образованная и воспитанная живет с глупым, тяжелым человеком; встретится ей какой-нибудь интеллигентный человек, офицер, актер или доктор, ну полюбит, станет ей невыносима жизнь, она и бежит от мужа. И осуждать нельзя!

— Если так, Кисочка, то зачем же замуж идти? — спросил я.

— Конечно, — вздохнула Кисочка, — но ведь каждой девушке кажется, что лучше хоть какой-нибудь муж, чем ничего... Вообще, Николай Анастасьевич, нехорошо здесь живет, очень нехорошо! И в девушках душно, и замужем душно... Вот смеются над Соней за то, что она бежала, да еще с актером, а если бы заглянули ей в душу, то не смеялись бы...»

За дверью опять залаял Азорка. Он злобно огрызнулся на кого-то, потом завыл с тоской и всем телом шархнулся о стену барака... Лицо Ананьева поморщилось от жалости; он прервал свой рассказ и вышел. Минуты две слышно было, как он утешал за дверью собаку: «Хороший пес! Бедный пес!»

— Наш Николай Анастасьич любит поговорить, — сказал фон Штенберг, усмехаясь. — Хороший человек! — добавил он после некоторого молчания.

Вернувшись в барак, инженер подлил вина в наши стаканы и, улыбаясь, поглаживая себя по груди, продолжал:

«Итак, моя атака не удалась. Нечего было делать, я оставил нечистые мысли до более благоприятного случая, помирился со своей неудачей и, что называется, махнул рукой. Мало того, под влиянием Кисочкиного голоса, вечернего воздуха и тишины, я сам мало-помалу впал в тихое, лирическое настроение. Помню, сидел я в кресле у настезь открытого окна и глядел на деревья и темневшее небо. Силуэты акаций и лип были всё те же, что и восемь лет тому назад; так же, как и тогда, во времена детства, где-то далеко брэнчало плохое фортепяно, всё та же была манера у публики бродить по аллеям взад и вперед, но не те были люди. Уж по аллеям ходили не я, не мои товарищи, не предметы моей страсти, а какие-то чужие гимназисты, чужие барышни. И стало мне грустно. А когда на свои расспросы о знакомых я раз пять получил от Кисочки в ответ: „умер“, моя грусть обратилась в чувство, какое испытываешь на панихиде по хорошем человеке. И я, сидя тут у окна, глядя на гуляющую публику и слушая брэнчанье фортепяно, первый раз в жизни собственными глазами увидел, с какою жадностью одно поколение спешит сменить другое и какое роковое значение в жизни человека имеют даже какие-нибудь семь-восемь лет!»

Кисочка поставила на стол бутылку сантуринского. Я выпил, раскис и стал длинно рассказывать о чем-то. Кисочка слушала и по-прежнему любовалась мной и моим умом. А время шло. Небо уже потемнело так, что силуэты акаций и лип слились вместе, публика уже не гуляла по аллеям, фортепяно затихло и только слышался ровный шум моря.

Молодые люди все одинаковы. Приласкайте, приголубьте вы молодого человека, угостите его вином, дайте ему понять, что он интересен, и он рассядется, забудет о том, что ему пора уходить, и будет говорить, говорить, говорить... У хозяев слипаются глаза, им пора уже спать, а он всё сидит и говорит. Так и я. Раз нечаянно взглянул я на часы: было половина одиннадцатого. Я стал прощаться.

— Выпейте на дорожку, — сказала Кисочка.

Я выпил на дорожку, опять заговорил длинно, забыл, что пора уходить, и сел. Но вот послышались мужские голоса, шаги и звяканье шпор. Какие-то люди прошли под окнами и остановились около двери.

— Кажется, муж вернулся... — сказала Кисочка, прислушиваясь.

Дверь шелкнула, голоса раздалась уже в передней, и я видел, как мимо двери, ведущей в столовую, прошли два человека: один — полный, солидный брюнет с горбатым носом и в соломенной шляпе и другой — молодой офицер в белом кителе. Проходя мимо двери, оба они равнодушно и мельком взглянули на меня и Кисочку, и мне показалось, что оба они были пьяны.

— Она, значит, тебе наврала, а ты поверил! — раздался через минуту громкий голос с сильным носовым проносом. — Во-первых, это было не в большом клубе, а в малом.

— Ты, Юпитер, сердисься, стало быть, ты неправ... — сказал другой, смеющийся и кашляющий, очевидно, офицерский голос. — Послушай, мне можно остаться у тебя ночевать? Ты по совести: я тебя не стесню?

— Что за вопрос?! Не только можно, но даже должно. Ты чего хочешь, пива или вина?

Оба сидели через две комнаты от нас, громко говорили и, видимо, не интересовались ни Кисочкой, ни ее гостем. С Кисочкой же, когда вернулся муж, произошла заметная перемена. Она сначала покраснела, потом лицо ее приняло робкое, виноватое выражение; ею овладело какое-то беспокойство, и мне стало казаться, что ей совестно показывать мне своего мужа и хочется, чтобы я ушел.

Я начал прощаться. Кисочка проводила меня до крыльца. Я отлично помню ее кроткую, грустную улыбку и ласковые, покорные глаза, когда она мне пожала руку и сказала:

— Вероятно, мы уж больше никогда не увидимся... Ну, дай Бог вам всего хорошего. Спасибо вам!

Ни одного вздоха, ни одной фразы. Прощаясь, она держала в руках свечу; светлые пятна прыгали по ее лицу и шее, точно гоняясь за ее грустной улыбкой; я вообразил себе прежнюю Кисочку, которую, бывало, хотелось погладить, как кошку, пристально поглядел на теперешнюю, припомнились мне почему-то ее слова: „Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено“ — и у меня на душе стало нехорошо. Мое чутье угадало и моя совесть шепнула мне, счастливому и равнодушному, что передо мной стоит хороший, доброжелательный, любящий, но замученный человек...

Я раскланялся и пошел к воротам. Было уже темно. В июле на юге вечера наступают рано и воздух темнеет быстро. К десяти часам бывает уж так темно, что хоть глаз выколи. Пока я почти ощупью добрался до ворот, то сжег десятка два спичек.

— Извозчик! — крикнул я, выйдя за ворота; в ответ мне ни гласа, ни воздыхания... — Извозчик! — повторил я. — Эй! линейки!

Но нет ни извозчиков, ни линейек. Гробовая тишина. Я только слышу, как шумит сонное море и как бьется от сантуринского мое сердце. Поднимаю глаза к небу — там ни одной звезды. Темно и пасмурно. Очевидно, небо покрыто облаками. Я для чего-то пожимаю плечами, глупо улыбаюсь и еще раз, уж не так решительно, зову извозчика.

— Ощ! — отвечает мне эхо.

Пройти пешком четыре версты полем, да еще в потемках — перспектива неприятная. Прежде чем решиться идти пешком, я долго размышляю и зову извозчика, потом пожимаю плечами и без всякой определенной цели лениво возвращаюсь назад в рощу. В роще темно ужасно. Кое-где между

деревьями тускло краснеют окна дачников. Ворона, разбуженная моими шагами и испугавшись спичек, которыми я освещаю свой путь к беседке, перелетает с дерева на дерево и шуршит в листве. Мне и досадно и стыдно, а ворона как будто понимает это и дразнит — кррра! Досадно мне, что придется идти пешком, и стыдно, что у Кисочки я разболтался, как мальчик.

Добрался я до беседки, нащупал скамью и сел. Далеко внизу, за густыми потемками тихо и сердито ворчало море. Помню, я, как слепой, не видел ни моря, ни неба, ни даже беседки, в которой сидел, и мне представлялось уже, что весь этот свет состоит только из мыслей, которые бродят в моей охмелевшей от вина голове, и из невидимой силы, монотонно шумящей где-то внизу. А потом, когда я задремал, мне стало казаться, что шумит не море, а мои мысли, и что весь мир состоит из одного только меня. И, сосредоточив таким образом в себе самом весь мир, я забыл и про извозчиков, и про город, и про Кисочку, и отдался ощущению, которое я так любил. Это — ощущение страшного одиночества, когда вам кажется, что во всей вселенной, темной и бесформенной, существуете только вы один. Ощущение гордое, демоническое, доступное только русским людям, у которых мысли и ощущения так же широки, безграничны и суровы, как их равнины, леса, снега. Если бы я был художником, то непременно изобразил бы выражение лица у русского человека, когда он сидит неподвижно и, подобрав под себя ноги, обняв голову руками, предается этому ощущению... А рядом с этим ощущением мысли о бесцельной жизни, о смерти, загробных потемках... мысли не стоят гроша медного, но выражение лица, должно быть, прекрасно...

Пока я сидел и дремал, не решаясь подняться — мне было тепло и покойно — вдруг среди ровного, однообразного шума моря, как на канве, стали обозначаться звуки, отвлекшие мое внимание от самого себя... Кто-то торопливо шел по аллее. Подойдя к беседке, этот кто-то остановился, всхлипнул, как девочка, и спросил голосом плачущей девочки:

— Боже мой, когда же, наконец, всё это кончится? Господи!

Судя по голосу и по плачу, это была девочка лет 10—12. Она нерешительно вошла в беседку, села и стала вслух не то молиться, не то жаловаться...

— Господи! — говорила она протяжно и плача. — Ведь это же невыносимо! Этого не выдержит никакое терпение! Я терплю, молчу, но ведь, пойми же, и мне жить хочется... Ах, Боже мой, Боже мой!

И всё в таком роде... Мне захотелось взглянуть на девочку и поговорить с ней. Чтобы не испугать ее, я сначала громко вздохнул и кашлянул, потом осторожно чиркнул спичкой... Яркий свет блеснул в потемках и осветил того, кто плакал. Это была Кисочка».

— Чудеса в решете! — вздохнул фон Штенберг. — Черная ночь, шум моря, страдающая она, он с ощущением вселенского одиночества... чёрт знает что! Недостает только черкесов с кинжалами.

— Я рассказываю вам не сказку, а быль.

— Ну, хоть бы и быль... Это всё ни к чему и давно уже известно...

— Погодите презирать, дайте кончить! — сказал Ананьев, досадливо махнув рукой. — Не мешайте, пожалуйста! Я не вам рассказываю, а доктору... «Ну-с, — продолжал он, обращаясь ко мне и искоса поглядывая на студента, который нагнулся к своим счетам и, казалось, был очень доволен тем, что поддразнил инженера. — Ну-с, увидев меня, Кисочка не удивилась и не испугалась, как будто раньше знала, что увидит меня в беседке. Она прерывисто дышала и дрожала всем телом, как в лихорадке, а лицо ее, мокрое от слез, насколько я мог разглядеть, зажигая спичку за спичкой, было уж не прежнее умное, покорное и усталое лицо, а какое-то другое, которое я до сих пор никак не могу понять. Оно не выражало ни боли, ни беспокойства, ни тоски, ничего такого, что выражали ее слова и слезы... Признаюсь, оттого, вероятно, что я не понимал его, оно казалось мне бессмысленным и пьяным.

— Я не могу больше... — забормотала Кисочка голосом плачущей девочки. — Нет моих сил, Николай Анастасьич! Простите, Николай Анастасьич... Я не в состоянии жить так... Уйду в город к матери... Проводите меня... Ради Бога, проводите!

В присутствии плачущих я не умел ни говорить, ни молчать. Я растерялся и в утешение забормотал какой-то вздор.

— Нет, нет, я поеду к матери! — сказала решительно Кисочка, поднимаясь и судорожно хватая меня за руку (руки и рукава у нее были мокры от слез). — Простите, Николай Анастасьич, поеду... Больше не могу...

— Кисочка, но ведь ни одного извозчика нет! — сказал я. — На чем вы поедете?

— Ничего, я пешком пойду... Тут недалеко. А я больше не в состоянии...

Я был смущен, но не растроган. Для меня в слезах Кисочки, в ее дрожи и в тупом выражении лица чувствовалась несерьезная французская или малороссийская мелодрама, где каждый золотник пустого, дешевого горя заливается пудом слез. Я не понимал ее и знал, что не понимаю, мне бы следовало молчать, но почему-то, вероятно, чтобы молчание мое не было понято как глупость, я считал нужным уговаривать ее не ехать к матери и сидеть дома. Плачущие не любят, когда кто видит их слезы. А я зажигал спичку за спичкой и чиркал до тех пор, пока не опустела коробка. К чему мне понадобилась эта невеликодушная иллюминация, до сих пор никак не могу понять. Вообще холодные люди часто бывают неловки и даже глупы.

В конце концов Кисочка взяла меня под руку и мы пошли. Выйдя за ворота, мы повернули вправо и побрели не спеша по мягкой, пыльной дороге. Было темно; когда же глаза мои мало-помалу привыкли к темноте, я стал различать силуэты старых, но тощих дубов и лип, которые росли по сторонам дороги. Скоро направо неясно обозначилась черная полоса неровного, обрывистого берега, пересеченная кое-где небольшими глубокими оврагами и промоинами. Около оврагов ютились невысокие кусты, похожие на сидящих людей. Становилось жутко. Я подозрительно косился на берег и уж шум моря и тишина поля неприятно пугали мое воображение. Кисочка молчала. Она не переставала дрожать и, не пройдя полумерсты, уж ослабела от ходьбы и задыхалась. Я тоже молчал.

В версте от Карантина стоит заброшенное четырехэтажное здание с очень высокой трубой, в котором когда-то была паровая мукомольня. Оно стоит одиноко на берегу, и днем его бывает далеко видно с моря и с поля. Оттого, что оно заброшено и что в нем никто не живет, и оттого, что в нем сидит эхо и отчетливо повторяет шаги и голоса прохожих, оно кажется таинственным. И вот представьте меня в темную ночь под руку с женщиной, которая бежит от мужа, около длинной и высокой громадины, повторяющей каждый мой шаг и неподвижно глядящей на меня сотнею своих черных окон. Нормальный молодой человек при такой обстановке ударился бы в романтизм, я же глядел на темные окна и думал: „Всё это внушительно, но придет время, когда и от этого здания, и от Кисочки с ее горем, и от меня с моими мыслями не останется и пыли... Всё вздор и суета...“

Когда мы поравнялись с мукомольней, Кисочка вдруг остановилась, освободила свою руку и заговорила, но уж голосом не девочки, а своим собственным:

— Николай Анастасьич, я знаю, вам всё это кажется странным. Но я страшно несчастна! И представить даже вы себе не можете, как я несчастна! Невозможно представить! Я вам не рассказываю, потому что и рассказывать нельзя... Такая жизнь, такая жизнь...

Кисочка не договорила, стиснула зубы и простонала так, как будто старалась изо всех сил не крикнуть от боли.

— Такая жизнь! — повторила она с ужасом и нараспев, с тем южным, немножко хохлацким акцентом, который, особенно у женщин, придает возбужденной речи характер песни. — Такая жизнь! А, Боже мой, Боже мой, что же это такое? А, Боже мой, Боже мой!

Точно желая разгадать тайну своей жизни, она в недоумении пожимала плечами, качала головой и всплескивала руками. Говорила она, словно пела, двигалась грациозно и красиво и напоминала мне одну знаменитую хохлацкую актрису.

— Господи, да я же как в яме! — продолжала она, ломая руки. — Хоть бы одну минуточку пожить в радости, как люди живут! А, Боже мой, Боже мой! Дожила до такого срама, что при чужом человеке ухожу ночью от мужа, как какая-нибудь беспутная. Чего же еще хорошего можно ждать после этого?

Любуясь ее движениями и голосом, я вдруг стал чувствовать удовольствие от того, что она не в ладах живет с мужем. „Хорошо бы сойтись с ней!“ — мелькнуло у меня в мыслях, и эта безжалостная мысль остановилась в моем мозгу, не покидала меня во всю дорогу и улыбалась мне всё шире и шире...

Пройдя версты полторы от мукомольни, нужно поворачивать к городу влево мимо кладбища. У поворота на углу кладбища стоит каменная ветряная мельница, а возле нее небольшая хатка, в которой живет мельник. Миновали мы мельницу и хатку, повернули влево и дошли до ворот кладбища. Тут Кисочка остановилась и сказала:

— Я вернусь, Николай Анастасьич! Вы идите себе с Богом, а я сама вернусь. Мне не страшно.

— Ну вот еще! — испугался я. — Коли идти — так идти...

— Я напрасно погорячилась... Всё ведь из-за пустяка вышло. Вы своими разговорами напомнили мне прошлое, навели меня на разные мысли... Я была грустна и хотела плакать, а муж при офицере сказал мне дерзость, ну я и не выдержала... И зачем мне идти в город к матери? Разве от этого я стану счастливее? Надо вернуться... А впрочем... пойдемте! — сказала Кисочка и засмеялась. — Всё равно!

Я помнил, что на кладбищенских воротах есть надпись: „Грядет час, в онь же вси сущие во гробех услышат глас Сына Божия“, отлично знал, что рано или поздно настанет время, когда и я, и Кисочка, и ее муж, и офицер в белом кителе будем лежать за оградой под темными деревьями, знал, что рядом со мной идет несчастный, оскорбленный человек, — всё это я сознавал ясно, но в то же время меня волновал тяжелый, неприятный страх, что Кисочка вернется и что я не сумею сказать ей то, что нужно. Никогда в другое время в моей голове мысли высшего порядка не переплетались так тесно с самой низкой, животной прозой, как в эту ночь... Ужасно!

Недалеко от кладбища мы нашли извозчика. Доехав до Большой улицы, где жила Кисочкина мать, мы отпустили извозчика и пошли по тротуару. Кисочка всё время молчала, а я глядел на нее и злился на себя: „Что же ты не начинаешь? Пора!“ В двадцати шагах от гостиницы, где я жил, Кисочка остановилась около фонаря и заплакала.

— Николай Анастасьич! — сказала она, плача, смеясь и глядя мне в лицо мокрыми, блестящими глазами. — Я вашего участия никогда не забуду... Какой вы хороший! И все вы такие молодцы! Честные, великодушные, сердечные, умные... Ах, как это хорошо!

Она видела во мне интеллигентного и передового во всех отношениях человека, и на ее мокром, смеющемся лице, рядом с умилением и восторгом, которые возбуждала в ней моя особа, была написана скорбь, что она редко видит таких людей и что бог не дал ей счастья быть женою одного из них. Она бормотала: „Ах, как это хорошо!“ Детская радость на лице, слезы, кроткая улыбка, мягкие волосы, выбившиеся из-под платка, и самый платок, небрежно накинутый на голову, при свете фонаря напомнили мне прежнюю Кисочку, которую хотелось погладить, как кошку...

Я не выдержал и стал гладить ее волосы, плечи, руки...

— Кисочка, ну что ты хочешь? — забормотал я. — Хочешь, чтобы я с тобой на край света? Я увезу тебя из этой ямы и дам тебе счастье. Я тебя люблю... Поедем, моя прелесть? Да? Хорошо?

По лицу Кисочки разлилось недоумение. Она отступила от фонаря, и, ошеломленная, поглядела на меня большими глазами. Я крепко схватил ее за руку, стал осыпать поцелуями ее лицо, шею, плечи и продолжал клясться и давать обещания. В любовных делах клятвы и обещания составляют почти физиологическую необходимость. Без них не обойдешься. Иной раз знаешь, что лжешь и что обещания не нужны, а все-таки клянешься и обещаешь. Ошеломленная Кисочка всё пятилась назад и глядела на меня большими глазами...

— Не нужно! Не нужно! — забормотала она, отстраняя меня руками.

Я крепко обнял ее. Она вдруг истерично заплакала, и лицо ее приняло такое же бессмысленное, тупое выражение, какое я видел у нее в беседке, когда зажигал спички... Не спрашивая ее согласия, мешая ей говорить, я насильно потащил ее к себе в гостиницу... Она была как в столбняке и не шла, но я взял ее под руку и почти понес... Помню, когда мы поднимались вверх по лестнице, какая-то фигура с красным околышем удивленно поглядела на меня и поклонилась Кисочке...»

Ананьев покраснел и умолк. Он молча прошелся около стола, досадливо почесал себе затылок и несколько раз судорожно пожал плечами и лопатками от холода, который пробежал по его большой спине. Ему уж было стыдно я тяжело вспоминать, и он боролся с собой...

— Нехорошо! — сказал он, выпивая стакан вина и встряхивая головой. — Говорят, что всякий раз во вступительной лекции по женским болезням советуют студентам-медикам, прежде чем раздевать и ощупывать больную женщину, вспоминать, что у каждого из них есть мать, сестра, невеста... Этот совет годился бы не для одних только медиков, но для всех, кому приходится так или иначе сталкиваться в жизни с женщинами. Теперь, когда у меня есть жена и дочка, ах, как я понимаю этот совет! Как понимаю, Боже мой! Однако, слушайте, что дальше... «Ставши моей любовницей, Кисочка взглянула на дело иначе, чем я. Прежде всего она полюбила страстно и глубоко. То, что для меня составляло обыкновенный любовный экспромт, для нее было целым переворотом в жизни. Помню, мне казалось, что она сошла с ума. Счастливая первый раз в жизни, помолодевшая лет на пять, с вдохновенным, восторженным лицом, не зная, куда деваться от счастья, она то смеялась, то плакала и не переставала мечтать вслух о том, как завтра мы поедем на Кавказ, оттуда осенью в Петербург, как будем потом жить...

— А насчет мужа ты не беспокойся! — успокаивала она меня. — Он обязан дать мне развод. Всему городу известно, что он живет со старшей Костович. Мы получим развод и повенчаемся.

Женщины, когда любят, климатизируются и привыкают к людям быстро, как кошки. Побыва Кисочка у меня в номере часа полтора, а уж чувствовала себя в нем, как дома, и распоряжалась моим добром, как своим собственным. Она укладывала в чемодан мои вещи, журила меня за то, что я не вешаю на гвоздь свое новое, дорогое пальто, а бросаю его на стул, как тряпку, и проч.

Я глядел на нее, слушал и чувствовал усталость и досаду. Меня немножко коробило от мысли, что порядочная, честная и страдающая женщина так легко, в какие-нибудь три-четыре часа сделалась любовницей первого встречного. Это уж мне, как порядочному человеку, видите ли, не нравилось. Потом, на меня еще неприятно действовало то, что женщины вроде Кисочки неглубоки и несерьезны, слишком любят жизнь и даже такой в сущности пустяк, как любовь к мужчине, возводят на степень счастья, страдания, жизненного переворота... К тому же теперь, когда я был сыт, мне было досадно на себя, что я сглупил и связался с женщиной, которую поневоле придется обмануть... А я, надо заметить, несмотря на свою беспорядочность, терпеть не мог лгать.

Помню, Кисочка села у моих ног, положила голову мне на колени и, глядя на меня блестящими, любящими глазами, спросила:

— Коля, ты меня любишь? Очень? Очень?

И засмеялась от счастья... Это показалось мне сантиментально, приторно и неумно, а между тем я находился уже в таком настроении, когда во всем искал прежде всего „глубины мысли“.

— Кисочка, ты бы ушла домой, — сказал я, — а то твои родные, чего доброго, хватятся тебя и будут искать по городу. Да и неловко, что ты к матери придешь под утро...

Кисочка согласилась со мной. На прощанье мы условились, что завтра в полдень я увижусь с нею в городском саду, а послезавтра мы вместе поедem в Пятигорск. Я вышел провожать ее на улицу и, помню, нежно и искренно ласкал ее дорогой. Была минута, когда мне вдруг стало невыносимо жаль, что она так беззаветно верит мне, и я порешил было взять ее с собой в Пятигорск, но, вспомнив, что у меня в чемодане только шестьсот рублей и что осенью развязаться с нею будет гораздо трудней, чем теперь, я поспешил заглушить свою жалость.

Мы пришли к дому, где жила Кисочкина мать. Я дернул за звонок. Когда послышались за дверью шаги, Кисочка вдруг сделала серьезное лицо, взглянула на небо и несколько раз торопливо перекрестила меня, как ребенка, потом схватила мою руку и прижала к своим губам.

— До завтра! — проговорила она и исчезла за дверью.

Я перешел на противоположный тротуар и отсюда поглядел на дом. Сначала за окнами было темно, потом в одном из окон мелькнул слабый синеватый огонек только что зажженной свечки; огонек вырос, пустил от себя лучи, и я увидел, как вместе с ним по комнатам задвигались какие-то тени.

„Не ждали!“ — подумал я.

Вернувшись к себе в номер, я разделся, выпил сан-туринского, закусил свежей зернистой икрой, которую купил днем на базаре, не спеша лег в постель и уснул крепким, безмятежным сном туриста.

Утром проснулся я с головною болью и в дурном расположении духа. Что-то беспокоило меня.

„В чем дело? — спрашивал я себя, желая объяснить свое беспокойство. — Что тревожит меня?“

И свое беспокойство я объяснил боязнью, что сейчас, пожалуй, придет ко мне Кисочка, помешает мне уехать и я должен буду лгать и ломаться перед ней. Я быстро оделся, уложил свои вещи и вышел из гостиницы, приказав швейцару доставить мой багаж на вокзал к семи часам вечера. Весь день пробыл я у одного приятеля-доктора, а вечером уж выехал из города. Как видите, мое мышление не помешало мне удариться в подлое, изменническое бегство...

Всё время, пока я сидел у приятеля и ехал потом на вокзал, меня мучило беспокойство. Мне казалось, что я боюсь встречи с Кисочкой и скандала. На вокзале я нарочно просидел в уборной до второго звонка, а когда пробирался к своему вагону, меня давило такое чувство, как будто весь я от головы до ног был обложен краденными вещами. С каким нетерпением и страхом я ждал третьего звонка!

Но вот раздался спасительный третий звонок, поезд тронулся; миновали мы тюрьму, казармы, выехали в поле, а беспокойство, к великому моему удивлению, всё еще не оставляло меня, и всё еще я чувствовал себя вором, которому страстно хочется бежать. Что за странность? Чтобы рассеяться и успокоить себя, я стал глядеть в окно. Поезд шел по берегу. Море было гладко, и в него весело и спокойно гляделось бирюзовое небо, почти наполовину выкрашенное в нежный, золотисто-багряный цвет заката. Кое-где на нем чернели рыбацкие лодочки и плоты. Город чистенький и красивый, как

игрушка, стоял на высоком берегу и уж подергивался вечерним туманом. Золотые главы его церквей, окна и зелень отражали в себе заходившее солнце, горели и таяли, как золото, которое плавится... Запах поля мешался с нежною сыростью, веявшей с моря.

Поезд летел быстро. Слышался смех пассажиров и кондукторов. Всем было весело и легко, а мое непонятное беспокойство всё росло и росло... Я глядел на легкий туман, покрывавший город, и мне представлялось, как в этом тумане около церквей и домов, с бессмысленным, тупым лицом мечется женщина, ищет меня и голосом девочки или нараспев, как хохлацкая актриса, стонет: „А, Боже мой, Боже мой!“ Я вспоминал ее серьезное лицо и большие, озабоченные глаза, когда она вчера крестила меня, как родного, и машинально оглядывал свою руку, которую она вчера целовала.

„Влюблен я, что ли?“ — спрашивал я себя, почесывая руку.

Только с наступлением ночи, когда пассажиры спали и я один на один остался со своею совестью, мне стало понятно то, чего я никак не мог понять раньше. В вагонных сумерках стоял передо мной образ Кисочки, не отходил от меня, и я уже ясно сознавал, что мною совершено зло, равносильное убийству. Меня мучила совесть. Чтобы заглушить это невыносимое чувство, я уверял себя, что всё вздор и суета, что я и Кисочка умрем и сгнием, что ее горе ничто в сравнении со смертью, и так далее и так далее... Что, в конце концов, свободной воли нет и что я, стало быть, не виноват, но все эти доводы только раздражали меня и как-то особенно быстро ступшеывались среди других мыслей. В руке, которую поцеловала Кисочка, было ощущение тоски... Я то ложился, то вставал, пил на станциях водку, насильно ел бутерброды, опять принимался уверять себя, что жизнь не имеет смысла, но ничто не помогало. В моей голове кипела странная и, если хотите, смешная работа. Самые разнообразные мысли в беспорядке громоздились одна на другую, путались, мешали друг другу, а я, мыслитель, уставясь в землю лбом, ничего не понимал и никак не мог ориентироваться в этой куче нужных и ненужных мыслей. Оказалось, что я, мыслитель, не усвоил себе еще даже техники мышления и что распорядиться своей собственной головой я так же не умел, как починять часы. Первый раз в жизни я мыслил усердно и напряженно, и это казалось мне такой диковиной, что я думал: „Я схожу с ума!“ Чей мозг работает не всегда, а только в тяжелые минуты, тому часто приходит мысль о сумасшествии.

Промаялся я таким образом ночь, день, потом еще ночь, и, убедившись, как мало помогает мне мое мышление, я прозрел и понял наконец, что я за птица. Я понял, что мысли мои не стоят гроша медного и что до встречи с Кисочкой я еще не начинал мыслить и даже понятия не имел о том, что значит серьезная мысль; теперь, настрадавшись, я понял, что у меня не было ни убеждений, ни определенного нравственного кодекса, ни сердца, ни рассудка; всё умственное и нравственное богатство мое состояло из специальных знаний, обрывков, ненужных воспоминаний, чужих мыслей — и только, а психические движения мои были несложны, просты и азбучны, как у якута... Если я не любил говорить ложь, не крал, не убивал и вообще не делал очевидно грубых ошибок, то это не в силу своих убеждений, — их у меня не было, — а просто только потому, что я по рукам и ногам был связан нянюшкиными сказками и прописной моралью, которые вошли мне в плоть и кровь и которые незаметно для меня руководили мною в жизни, хотя я и считал их нелепостью...

Я понял, что я не мыслитель, не философ, а просто виртуоз. Бог дал мне здоровый, сильный русский мозг с задатками таланта. И вот представьте себе этот мозг на 26 году жизни, не дрессированный, совершенно свободный от постоа, не обремененный никакою кладью, а только слегка запылившийся кое-какими знаниями по инженерной части; он молод и физиологически алчет работы, ищет ее, и вдруг совершенно случайным путем западает в него извне красивая, сочная мысль о беспельной жизни и загробных потемках. Он жадно втягивает ее в себя, дает в ее распоряжение весь свой простор и начинает играть с нею на всякие лады, как кошка с мышкой. У мозга ни эрудиции, ни системы, но это не беда. Он собственными, природными силами на манер самоучки справляется с

широкой мыслью, и не проходит месяца, как уж обладатель мозга из одного картофеля готовит сотню вкусных блюд и мнит себя мыслителем...

Эту виртуозность, игру в серьезную мысль наше поколение внесло в науку, в литературу, в политику и всюду, куда только оно не ленилось идти, а с виртуозностью вносило оно свой холод, скуку, односторонность и, как мне кажется, уже успело воспитать в массе новое, до сих пор небывалое отношение к серьезной мысли.

Свою ненормальность и круглое невежество я понял и оценил, благодаря несчастью. Нормальное же мое мышление, как мне теперь кажется, началось только с того времени, когда я принялся за азбуку, то есть когда совесть погнала меня назад в N., и я, не мудрствуя лукаво, покаялся перед Кисочкой, вымолил у нее, как мальчишка, прощение и поплакал вместе с ней...»

Ананьев вкратце описал свое последнее свидание с Кисочкой и умолк.

— Тэк-с... — процедил сквозь зубы студент, когда инженер кончил. — Такие-то дела на этом свете!

Лицо его по-прежнему выражало мозговую лень, и, по-видимому, рассказ Ананьева не тронул его нисколько. Только когда инженер, отдохнувши минутку, опять принялся развивать свою мысль и повторять то, что уже было сказано им вначале, студент раздраженно поморщился, встал из-за стола и отошел к своей кровати. Он постлал постель и стал раздеваться.

— У вас теперь такой вид, как будто вы в самом деле кого-нибудь убедили! — сказал он раздраженно.

— Я кого-нибудь убедил? — спросил инженер. — Душа моя, да разве я претендую на это? Бог с вами! Убедить вас невозможно! Дойти до убеждения вы можете только путем личного опыта и страданий!..

— И потом, удивительная логика! — проворчал студент, надевая ночную сорочку. — Мысли, которых вы так не любите, для молодых гибельны, для стариков же, как вы говорите, составляют норму. Точно речь идет о седидах... Откуда эта старческая привилегия? На чем она основана? Уж коли эти мысли — яд, так яд для всех одинаково.

— Э, нет, душа моя, не говорите! — сказал инженер и хитро подмигнул глазом. — Не говорите! Старики, во-первых, не виртуозы. Их пессимизм является к ним не извне, не случайно, а из глубины собственного мозга и уж после того, как они проштудируют всяких Гегелей и Кантов, страдают, наделают тьму ошибок, одним словом, когда пройдут всю лестницу от низу до верху. Их пессимизм имеет за собой и личный опыт, и прочное философское развитие. Во-вторых, у стариков-мыслителей пессимизм составляет не шалтай-болтай, как у нас с вами, а мировую боль, страдание; он у них имеет христианскую подкладку, потому что вытекает из любви к человеку и из мыслей о человеке и совсем лишен того эгоизма, какой замечается у виртуозов. Вы презираете жизнь за то, что ее смысл и цель скрыты именно от вас, и боитесь вы только своей собственной смерти, настоящий же мыслитель страдает, что истина скрыта от всех, и боится за всех людей. Например, тут недалече живет казенный лесничий Иван Александрыч. Хороший такой старичок. Когда-то он где-то был учителем, пописывал что-то, чёрт его знает, кем он был, но только умница замечательная и по части философии собаку съел. Читал он много и теперь постоянно читает. Ну-с, как-то недавно встретились мы с ним на Грузовском участке... А там как раз в это время клали шпалы и рельсы. Работа немудреная, но Ивану Александрычу, как не специалисту, она показалась чем-то вроде фокуса. Для того, чтобы уложить шпалу и фиксировать к ней рельс, опытному мастеру нужно меньше минуты. Рабочие были в духе и работали, действительно, ловко и быстро; особенно один подлец необыкновенно ловко попал молотком в головку гвоздя и вбивал его с одного размаха, а в рукоятке-то молотка чуть ли не сажень

и каждый гвоздь в фут длиною. Иван Александрович долго глядел на рабочих, умилился и сказал мне со слезами на глазах: «Как жаль, что эти замечательные люди умрут!» Такой пессимизм я понимаю...

— Всё это ничего не доказывает и не объясняет, — сказал студент, укрываясь простыней, — и всё это одно только толчение воды в ступе! Никто ничего не знает и ничего нельзя доказать словами.

Он выглянул из-под простыни, приподнял голову и, раздраженно морщась, проговорил быстро:

— Надо быть очень наивным, чтобы верить и придавать решающее значение человеческой речи и логике. Словами можно доказать и опровергнуть всё, что угодно, и скоро люди усовершенствуют технику языка до такой степени, что будут доказывать математически верно, что дважды два — семь. Я люблю слушать и читать, но верить, покорнейше благодарю, я не умею и не хочу. Я поверю одному только Богу, а вам, хоть бы вы говорили мне до второго пришествия и обольстили еще пятьсот Кисочек, я поверю разве только, когда сойду с ума... Спокойной ночи!

Студент спрятал голову под простыню и отвернулся лицом к стенке, желая этим движением дать понять, что он уж не желает ни слушать, ни говорить. На этом и кончился спор.

Прежде чем лечь спать, я и инженер вышли из барака, и я еще раз видел огни.

— Мы утомили вас своей болтовней! — сказал Ананьев, зевая и глядя на небо. — Ну, да что ж, батенька! Только ж удовольствия в этой скучище, что вот вина выпьешь да пофилософствуешь... Экая насыпь, Господи! — умилился он, когда мы подошли к насыпи. — Это не насыпь, а Арарат-гора.

Он помолчал немного и сказал:

— Барону эти огни напоминают амалекитян, а мне кажется, что они похожи на человеческие мысли... Знаете, мысли каждого отдельного человека тоже вот таким образом разбросаны в беспорядке, тянутся куда-то к цели по одной линии, среди потемок, и, ничего не осветив, не прояснив ночи, исчезают где-то — далеко за старостью... Однако, довольно философствовать! Пора бай-бай...

Когда мы вернулись в барак, инженер стал упрасивать меня, чтобы я лег непременно на его кровать.

— Ну, пожалуйста! — говорил он умоляюще, прижимая обе руки к сердцу. — Прошу вас! А насчет меня не беспокойтесь. Я могу спать где угодно, да и еще не скоро лягу... Сделайте такое одолжение!

Я согласился, разделся и лег, а он сел за стол и принялся за чертежи.

— Нашему брату, батенька, некогда спать, — говорил он вполголоса, когда я лег и закрыл глаза. — У кого жена да пара ребят, тому не до сна. Теперь корми и одевай да на будущее припасай. А у меня их двое: сынишка и дочка... У мальчишки-подлеца хорошая рожа... Шести лет еще нет, а способности, доложу я вам, необыкновенные... Тут у меня где-то их карточки были... Эх, деточки мои, деточки!

Он пошарил в бумагах, нашел карточки и стал глядеть на них. Я уснул.

Разбудили меня лай Азорки и громкие голоса. Фон Штенберг, в одном нижнем белье, босой и с включенными волосами, стоял на пороге двери и с кем-то громко разговаривал. Светало... Хмурый, синий рассвет гляделся в дверь, в окна и в щели барака и слабо освещал мою кровать, стол с бумагами и Ананьева. Растянувшись на полу на бурке, выпятив свою мясистую, волосатую грудь и с кожаной подушкой под головой, инженер спал и храпел так громко, что я от души пожалел студента, которому приходится спать с ним каждую ночь.

— С какой же стати мы будем принимать? — кричал фон Штенберг. — Это нас не касается! Поезжай к инженеру Чалисову! От кого это котлы?

— От Никитина... — отвечал угрюмо чей-то бас.

— Ну, так вот и поезжай к Чалисову... Это не по нашей части. Какого ж чёрта стоишь? Поезжай!

— Ваше благородие, мы уж были у господина Чалисова! — сказал бас еще угрюмее. — Вчера цельный день их искали по линии, и в ихнем бараке нам так сказали, что они на Дымковский участок уехали. Примите, сделайте милость! До каких же пор нам возить их? Возим-возим по линии, и конца не видать...

— Что там? — прохрипел Ананьев, просыпаясь и быстро поднимая голову.

— От Никитина котлы привезли, — сказал студент, — и просят, чтобы мы их приняли. А какое нам дело принимать?

— Гоните их в шею!

— Сделайте милость, ваше благородие, доведите до порядка! Лошади два дня не евши и хозяин, чай, серчает. Назад нам везть, что ли? Железная дорога котлы заказывала, стало быть, она и принять должна...

— Да пойми же, дубина, что это не наше дело! Поезжай к Чалисову!

— Что такое? Кто там? — прохрипел опять Ананьев. — А чёрт их возьми совсем, — выбранился он, поднимаясь и идя к двери. — Что такое?

Я оделся и минуты через две вышел из барака. Ананьев и студент, оба в нижнем белье и босые, что-то горячо и нетерпеливо объясняли мужику, который стоял перед ними без шапки и с кнутом в руке и, по-видимому, не понимал их. На лицах обоих была написана самая будничная забота.

— На что мне сдались твои котлы? — кричал Ананьев. — На голову я себе их надену, что ли? Если ты не застал Чалисова, то поищи его помощника, а нас оставь в покое!

Увидев меня, студент, вероятно, вспомнил разговор, который был ночью, и на сонном лице его исчезла забота и показалось выражение мозговой лени. Он махнул рукой на мужика и, о чем-то думая, отошел в сторону.

Утро было пасмурное. По линии, где ночью светились огни, копошились только что проснувшиеся рабочие. Слышались голоса и скрип тачек. Начинался рабочий день. Одна лошаденка в веревочной сбруе уже плелась на насыпь и, изо всех сил вытягивая шею, тащила за собою телегу с песком...

Я стал прощаться... Многое было сказано ночью, но я не увозил с собою ни одного решенного вопроса и от всего разговора теперь утром у меня в памяти, как на фильтре, оставались только огни и образ Кисочки. Севши на лошадь, я в последний раз взглянул на студента и Ананьева, на истеричную собаку с мутными, точно пьяными глазами, на рабочих, мелькавших в утреннем тумане, на насыпь, на лошаденку, вытягивающую шею, и подумал:

«Ничего не разберешь на этом свете!»

А когда я ударил по лошади и поскакал вдоль линии и когда, немного погодя, я видел перед собою только бесконечную, угрюмую равнину и пасмурное, холодное небо, припомнились мне вопросы, которые решались ночью. Я думал, а выжженная солнцем равнина, громадное небо, темневший вдаль дубовый лес и туманная даль как будто говорили мне: «Да, ничего не поймешь на этом свете!»

Стало восходить солнце...

ГОРЕ

Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу. Нужно ему проехать верст тридцать, а между тем дорога ужасная, с которой не справится казенному почтарю, а не то что такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий, холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба, или с земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса, а когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, тогда не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и подергиванье головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на облучке и то и дело хлещет по лошадиной спине.

— Ты, Матрена, не плачь... — бормочет он. — Потерпи малость. В больницу, Бог даст, приедем и мигом у тебя, это самое... Даст тебе Павел Иваныч капелек, или кровь пустить прикажет, или, может, милости его угодно будет спиртиком каким тебя растереть, оно и тово... оттянет от бока. Павел Иваныч постарается... Покричит, ногами потопочет, а уж постарается... Славный господин, обходительный, дай бог ему здоровья... Сейчас, как приедем, перво-наперво выскочит из своей фатеры и начнет чертей перебирать. «Как? Почему такое? — закричит. — Почему не вовремя приехал? Нешто я собака какая, чтоб цельный день с вами, чертями, возиться? Почему утром не приехал? Вон! Чтоб и духу твоего не было. Завтра приезжай!» А я и скажу: «Господин доктор! Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие!» Да поезжай же ты, чтоб тебе пусто было, чёрт! Но!

Токарь хлещет по лошаденке и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос:

— «Ваше высокоблагородие! Истинно, как перед Богом... вот вам крест, выехал я чуть свет. Где ж тут к сроку поспеть, ежели Господь... Матерь Божия... прогневался и метель такую послал?» Сами изволите видеть... Какая лошадь поблагороднее, и та не выедет, а у меня, сами изволите видеть, не лошадь, а срамота!» А Павел Иваныч нахмурится и закричит: «Знаем вас! Завсегда оправдание найдете! Особливо ты, Гришка! Давно тебя знаю! Небось, раз пять в кабаке заезжал!» А я ему: «Ваше высокоблагородие! Да нешто я злодей какой или нехристь? Старуха душу Богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать! Что вы, помилуйте! Чтоб им пусто было, кабакам этим!» Тогда Павел Иваныч прикажет тебя в больницу снести. А я в ноги... «Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие! Благодарим вас всепокорно! Простите нас, дураков, анафемов, не обессудьте нас, мужиков! Нас бы в три шеи надо, а вы изволите беспокоиться, ножки свои в снег марать!» А Павел Иваныч взглянет этак, словно ударить захочет, и скажет: «Чем в ноги-то бухать, ты бы лучше, дурак, водки не лопал да старуху жалел. Пороть тебя надо!» — «Истинно пороть, Павел Иваныч, побей меня Бог, пороть! А как же нам в ноги не кланяться, ежели благодетели вы наши, отцы родные? Ваше высокоблагородие! Верно слово... вот как перед Богом... плюньте тогда в глаза, ежели обману: как только моя Матрена, это самое, выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то всё, что соизволите приказать, всё для вашей милости сделаю! Портсигарчик, ежели желаете, из карельской березы... шары для крокета, кегли могу выточить самые заграничные... всё для вас сделаю! Ни копейки с вас не возьму! В Москве бы с вас за такой портсигарчик четыре рубля взяли, а я ни копейки». Доктор засмеется и скажет: «Ну, ладно, ладно... Чувствую! Только жалко, что ты пьяница»... Я, брат старуха, понимаю, как с господами надо. Нет того господина, чтоб я с ним не сумел поговорить. Только привел бы бог с дороги не сбиться. Ишь метет! Все глаза запорошило.

И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтоб хоть немного заглушить свое тяжелое чувство. Слов на языке много, но мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, нежданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить. Жил доселе безмятежно, ровно, в пьяном полузабытьи, не зная ни горя, ни радостей, и

вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль. Беспечный лежебока и пьянчужка очутился ни с того ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой.

Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера. Когда вчера вечером воротился он домой, по обыкновению пьяненьким, и по застарелой привычке начал браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего буяна так, как раньше никогда не глядела. Обыкновенно выражение ее старческих глаз было мученическое, кроткое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят, теперь же она глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие. С этих странных, нехороших глаз и началось горе. Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу, в надежде, что Павел Иванович порошками и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд.

— Ты же, Матрена, тово... — бормочет он. — Ежели Павел Иванович спросит, бил я тебя или нет, говори: никак нет! А я тебя не буду больше бить. Вот те крест. Да нешто я бил тебя по злобе? Бил так, зря. Я тебя жалею. Другому бы и горя мало, а я вот везу... стараюсь. А метет-то, метет! Господи, Твоя воля! Привел бы только Бог с дороги не сбиться... Что, болит бок? Матрена, что ж ты молчишь? Я тебя спрашиваю: болит бок?

Странно ему кажется, что на лице у старухи не тает снег, странно, что само лицо как-то особенно вытянулось, приняло бледно-серый, грязно-восковой цвет и стало строгим, серьезным.

— Ну и дура! — бормочет токарь. — Я тебе по совести, как перед Богом... а ты, тово... Ну и дура! Возьму вот и не повезу к Павлу Ивановичу!

Токарь опускает вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху он не решается: страшно! Задать ей вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтоб покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает как плеть.

— Померла, стало быть! Комиссия!

И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает: как на этом свете всё быстро делается! Не успело еще начаться его горе, как уж готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он с нею сорок лет, но ведь эти сорок лет прошли, словно в тумане. За пьянством, драками и нуждой не чувствовалась жизнь. И, как на зло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее, жить без нее не может, страшно виноват перед ней.

— А ведь она по миру ходила! — вспоминает он. — Сам я посылал ее хлеба у людей просить, комиссия! Ей бы, дуре, еще лет десяток прожить, а то, небось, думает, что я и взаправду такой. Мать Пресвятая, да куда же к лешему я это еду? Теперь не лечить надо, а хоронить. Поворачивай!

Токарь поворачивает назад и изо всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом становится всё хуже и хуже. Теперь уже дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на молодую елку, темный предмет оцарапает руки токаря, мелькнет перед его глазами, и поле зрения опять становится белым, кружащимся.

«Жить бы сызнова»... — думает токарь.

Вспоминает он, что Матрена лет сорок тому назад была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали ее за него замуж потому, что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья, но беда в том, что он как напился после свадьбы, завалился на печку, так словно и до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит, а что было после свадьбы — хоть убей, ничего не помнит, кроме разве того, что пил, лежал, дрался. Так и пропали сорок лет.

Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть. Наступают сумерки.

— Куда ж я еду? — спохватывается вдруг токарь. — Хоронить надо, а я в больницу... Ошалел словно!

Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади. Кобылка напрягает все свои силы и фыркая, бежит мелкой рысцей. Токарь раз за разом хлещет ее по спине... Сзади слышится какой-то стук, и он, хоть не оглядывается, но знает, что это стучит голова покойницы о сани. А воздух всё темнеет и темнеет, ветер становится холоднее и резче...

«Сызнова бы жить... — думает токарь. — Инструмент бы новый завести, заказы брать... деньги бы старухе отдавать... да!»

И вот он роняет вожжи. Ищет их, хочет поднять и никак не поднимет; руки не действуют...

«Всё равно... — думает он, — сама лошадь пойдет, знает дорогу. Поспать бы теперь... Покуда там похороны или панихида, прилечь бы».

Токарь закрывает глаза и дремлет. Немного погодя, он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу или скирду...

Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, но во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем двинуться с места... И он безмятежно засыпает.

Просыпается он в большой комнате с крашеными стенами. Из окон льет яркий солнечный день. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием.

— Панихидку бы, братцы, по старухе! — говорит он. — Батюшке бы сказать...

— Ну, ладно, ладно! Лежи уж! — обрывает его чей-то голос.

— Батюшка! Павел Иваныч! — удивляется токарь, видя перед собой доктора. — Вашескородие! Благодетель!

Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются.

— Ваше высокородие! Ноги же мои где? Где руки?

— Прощайся с руками и ногами... Отморозил! Ну, ну... чего же ты плачешь? Пожил, и слава Богу! Небось, шесть десятков прожил — будет с тебя!

— Горе!.. Вашескородие, горе ведь! Простите великодушно! Еще бы годочков пять-шесть...

— Зачем?

— Лошадь-то чужая, отдать надо... Старуху хоронить... И как на этом свете всё скоро делается! Ваше высокородие! Павел Иваныч! Портсигарчик из карельской березы наилучший! Крокетик выточу...

Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю — аминь!

СКРИПКА РОТШИЛЬДА

Городок был маленький, хуже деревни, и жили в нем почти одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. В больницу же и в тюремный замок гробов требовалось очень мало. Одним словом, дела были скверные. Если бы Яков Иванов был гробовщиком в губернском городе, то, наверное, он имел бы собственный дом и звали бы его Яковом Матвейчем; здесь же в городишке звали его просто Яковом, уличное прозвище у него было почему-то Бронза, а жил он бедно, как простой мужик, в небольшом старой избе, где была одна только комната, и в этой комнате помещались он, Марфа, печь, двухспальная кровать, гробы, верстак и всё хозяйство.

Яков делал гробы хорошие, прочные. Для мужиков и мещан он делал их на свой рост и ни разу не ошибся, так как выше и крепче его не было людей нигде, даже в тюремном замке, хотя ему было уже семьдесят лет. Для благородных же и для женщин делал по мерке и употреблял для этого железный аршин. Заказы на детские гробики принимал он очень неохотно и делал их прямо без мерки, с презрением, и всякий раз, получая деньги за работу, говорил:

— Признаться, не люблю заниматься чепухой.

Кроме мастерства, небольшой доход приносила ему также игра на скрипке. В городке на свадьбах играл обыкновенно жиловский оркестр, которым управлял лудильщик Моисей Ильич Шахкес, бравший себе больше половины дохода. Так как Яков очень хорошо играл на скрипке, особенно русские песни, то Шахкес иногда приглашал его и оркестр с платою по пятьдесят копеек в день, не считая подарков от гостей. Когда Бронза сидел в оркестре, то у него прежде всего потело и багровело лицо; было жарко, пахло чесноком до духоты, скрипка взвизгивала, у правого уха хрипел контрабас, у левого — плакала флейта, на которой играл рыжий тощий жид с целою сетью красных и синих жилок на лице, носивший фамилию известного богача Ротшильда. И этот проклятый жид даже самое веселое умудрялся играть жалобно. Без всякой видимой причины Яков мало-помалу проникался ненавистью и презрением к жидам, а особенно к Ротшильд; он начинал придирается, бранить его нехорошими словами и раз даже хотел побить его, и Ротшильд обиделся и проговорил, глядя на него свирепо:

— Если бы я не уважал вас за талант, то вы бы давно полетели у меня в окошке.

Потом заплакал. Поэтому Бронзу приглашали в оркестр не часто, только в случае крайней необходимости, когда недоставало кого-нибудь из евреев.

Яков никогда не бывал в хорошем расположении духа, так как ему постоянно приходилось терпеть страшные убытки. Например, в воскресенья и праздники грешно было работать, понедельник — тяжелый день, и таким образом в году набиралось около двухсот дней, когда поневоле приходилось сидеть сложа руки. А ведь это какой убыток! Если кто-нибудь и городе играл свадьбу без музыки или Шахкес не приглашал Якова, то это тоже был убыток. Полицейский надзиратель был два года болен и чахнул, и Яков с нетерпением ждал, когда он умрет, но надзиратель уехал в губернский город лечиться и взял да там и умер. Вот вам и убыток, по меньшей мере рублей на десять, так как гроб пришлось бы делать дорогой, с глазетом. Мысли об убытках донимали Якова особенно по ночам; он клал рядом с собой на постели скрипку и, когда всякая чепуха лезла в голову, трогал струны, скрипка в темноте издавала звук, и ему становилось легче.

Шестого мая прошлого года Марфа вдруг занемогла. Старуха тяжело дышала, пила много воды и пошатывалась, но все-таки утром сама истопила печь и даже ходила по воду. К вечеру же слегла. Яков весь день играл на скрипке; когда же совсем стемнело, взял книжку, в которую каждый день записывал свои убытки, и от скуки стал подводить годовой итог. Получилось больше тысячи рублей. Это так потрясло его, что он хватил счетами о пол и затопал ногами. Потом поднял счеты и опять долго шелкал и глубоко, напряженно вздыхал. Лицо у него было багрово и мокро от пота. Он думал о

том, что если бы эту пропащую тысячу рублей положить в банк, то в год проценту накопилось бы самое малое — сорок рублей. Значит, и эти сорок рублей тоже убыток. Одним словом, куда ни повернись, везде только убытки и больше ничего.

— Яков! — позвала Марфа неожиданно. — Я умираю!

Он оглянулся на жену. Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным, робким и несчастным, теперь смутился. Похоже было на то, как будто она в самом деле умирала и была рада, что наконец уходит навеки из этой избы, от гробов, от Якова... И она глядела в потолок и шевелила губами, и выражение у нее было счастливое, точно она видела смерть, свою избавительницу, и шепталась с ней.

Был уже рассвет, в окно видно было, как горела утренняя заря. Глядя на старуху, Яков почему-то вспомнил, что за всю жизнь он, кажется, ни разу не приласкал ее, не пожалел, ни разу не догадался купить ей платочек или принести со свадьбы чего-нибудь сладенького, а только кричал на нее, бранил за убытки, бросался на нее с кулаками; правда, он никогда не бил ее, но все-таки пугал, и она всякий раз цепенела от страха. Да, он не велел ей пить чай, потому что и без того расходы большие, и она пила только горячую воду. И он понял, отчего у нее теперь такое странное, радостное лицо, и ему стало жутко.

Дождавшись утра, он взял у соседа лошадь и повез Марфу в больницу. Тут больных было немного и потому пришлось ему ждать недолго, часа три. К его великому удовольствию, в этот раз принимал больных не доктор, который сам был болен, а фельдшер Максим Николаич, старик, про которого все в городе говорили, что хотя он и пьющий и дерется, но понимает больше, чем доктор.

— Здравия желаем, — сказал Яков, вводя старуху в приемную. — Извините, всё беспокоим вас, Максим Николаич, своими пустяжными делами. Вот, извольте видеть, захворал мой предмет. Подруга жизни, как это говорится, извините за выражение...

Нахмутив седые брови и поглаживая бакены, фельдшер стал оглядывать старуху, а она сидела на табурете сгорбившись и, тощая, остроносая, с открытым ртом, походила в профиль на птицу, которой хочется пить.

— М-да... Так... — медленно проговорил фельдшер и вздохнул. — Инфлуэнца, а может и горячка. Теперь по городу тиф ходит. Что ж? Старушка пожила, слава Богу... Сколько ей?

— Да без года семьдесят, Максим Николаич.

— Что ж? Пожила старушка. Пора и честь знать.

— Оно, конечно, справедливо изволили заметить, Максим Николаич, — сказал Яков, улыбаясь из вежливости, — и чувствительно вас благодарим за вашу приятность, но позвольте вам выразиться, всякому насекомому жить хочется.

— Мало ли чего! — сказал фельдшер таким тоном, как будто от него зависело жить старухе или умереть. — Ну, так вот, любезный, будешь прикладывать ей на голову холодный компресс и давай вот эти порошки по два в день. А за сим досвиданция, бонжур.

По выражению его лица Яков видел, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь; для него теперь ясно было, что Марфа помрет очень скоро, не сегодня-завтра. Он слегка толкнул фельдшера под локоть, подмигнул глазом и сказал вполголоса:

— Ей бы, Максим Николаич, банки поставить.

— Некогда, некогда, любезный. Бери свою старуху и уходи с Богом. Досвиданция.

— Сделайте такую милость, — взмолился Яков. — Сами изволите знать, если б у нее, скажем, живот болел или какая внутренность, ну, тогда порошки и капли, а то ведь в ней простуда! При простуде первое дело — кровь гнать. Максим Николаич.

А фельдшер уже вызвал следующего больного, и в приемную входила баба с мальчиком.

— Ступай, ступай... — сказал он Якову, хмурясь. — Нечего тень наводить.

— В таком случае поставьте ей хоть пьядки! Заставьте вечно Бога молить!

Фельдшер вспылел и крикнул:

— Поговори мне еще! Ддубина...

Яков тоже вспылел и побагровел весь, но не сказал ни слова, а взял под руку Марфу и повел ее из приемной. Только когда уж садились в телегу, он сурово и насмешливо поглядел на больницу и сказал:

— Насажали вас тут артистов! Богатому небось поставил бы банки, а для бедного человека и одной пьядки пожалел. Ироды!

Когда приехали домой, Марфа, войдя в избу, минут десять простояла, держась за печку. Ей казалось, что если она ляжет, то Яков будет говорить об убытках и бранить ее за то, что она всё лежит и не хочет работать. А Яков глядел на нее со скукой и вспоминал, что завтра Иоанна богослова, послезавтра Николая чудотворца, а потом воскресенье, потом понедельник — тяжелый день. Четыре дня нельзя будет работать, а наверное Марфа умрет в какой-нибудь из этих дней; значит, гроб надо делать сегодня. Он взял свой железный аршин, подошел к старухе и снял с нее мерку. Потом она легла, а он перекрестился и стал делать гроб.

Когда работа была кончена, Бронза надел очки и записал в свою книжку:

«Марфе Ивановой гроб — 2 р. 40 к.»

И вздохнул. Старуха всё время лежала молча с закрытыми глазами. Но вечером, когда стемнело, она вдруг позвала старика.

— Помнишь, Яков? — спросила она, глядя на него радостно. — Помнишь, пятьдесят лет назад нам Бог дал ребеночка с белокурыми волосиками? Мы с тобой тогда всё на речке сидели и песни пели... под вербой. — И, горько усмехнувшись, она добавила: — Умерла девочка.

Яков напряг память, но никак не мог вспомнить ни ребеночка, ни вербы.

— Это тебе мерещится, — сказал он.

Приходил батюшка, приобщал и соборовал. Потом Марфа стала бормотать что-то непонятное и к утру скончалась.

Старухи-соседки обмыли, одели и в гроб положили. Чтобы не платить лишнего дьячку, Яков сам читал псалтырь, и за могилку с него ничего не взяли, так как кладбищенский сторож был ему кум. Четыре мужика несли до кладбища гроб, но не за деньги, а из уважения. Шли за гробом старухи, нищие, двое юродивых, встречный народ набожно крестился... И Яков был очень доволен, что всё так честно, благопристойно и дешево и ни для кого не обидно. Прощаясь в последний раз с Марфой, он потрогал рукой гроб и подумал: «Хорошая работа!»

Но когда он возвращался с кладбища, его взяла сильная тоска. Ему что-то нездоровилось: дыхание было горячее и тяжкое, ослабели ноги, тянуло к питью. А тут еще полезли в голову всякие мысли. Вспомнилось опять, что за всю свою жизнь он ни разу не пожалел Марфы, не приласкал. Пятьдесят два года, пока они жили в одной избе, тянулись долго-долго, но как-то так вышло, что за всё это время он ни разу не подумал о ней, не обратил внимания, как будто она была кошка или собака.

А ведь она каждый день топила печь, варила и пекла, ходила по воду, рубила дрова, спала с ним на одной кровати, а когда он возвращался пьяный со свадьбы, она всякий раз с благоговением вешала его скрипку на стену и укладывала его спать, и всё это молча, с робким, заботливым выражением.

Навстречу Якову, улыбаясь и кланяясь, шел Ротшильд.

— А я вас ищу, дяденька! — сказал он. — Кланялись вам Моисей Ильич и велели вам з́араз приходить к ним.

Якову было не до того. Ему хотелось плакать.

— Отстань! — сказал он и пошел дальше.

— А как же это можно? — встревожился Ротшильд, забегая вперед. — Моисей Ильич будут обижаться! Они велели з́араз!

Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными латками и на всю его хрупкую, деликатную фигуру.

— Что ты лезешь ко мне, чеснок? — крикнул Яков. — Не приставай!

Жид рассердился и тоже крикнул:

— Но ви пожалуста потише, а то ви у меня через забор полетите!

— Прочь с глаз долой! — заревел Яков и бросился на него с кулаками. — Житья нет от пархатых!

Ротшильд помертвел от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов, потом вскочил и побежал прочь что есть духу. На бегу он подпрыгивал, всплескивал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками: «Жид! Жид!» Собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул, собаки залаяли громче и дружнее... Затем, должно быть, собака укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный, болезненный крик.

Яков погулял по выгону, потом пошел по краю города, куда глаза глядят, и мальчишки кричали: «Бронза идет! Бронза идет!» А вот и река. Тут с писком носились кулики, крикали утки. Солнце сильно припекало, и от воды шло такое сверканье, что было больно смотреть. Яков прошелся по тропинке вдоль берега и видел, как из купальни вышла полная краснощекая дама, и подумал про нее: «Ишь ты, выдра!» Недалеко от купальни мальчишки ловили на мясо раков; увидев его, они стали кричать со злобой: «Бронза! Бронза!» А вот широкая старая верба с громадным дуплом, а на ней вороньи гнезда... И вдруг в памяти Якова, как живой, вырос младенец с белокурыми волосами и верба, про которую говорила Марфа. Да, это и есть та самая верба — зеленая, тихая, грустная... Как она постарела, бедная!

Он сел под нее и стал вспоминать. На том берегу, где теперь заливной луг, в ту пору стоял крупный березовый лес, а вон на той лысой горе, что виднеется на горизонте, тогда синел старей-старый сосновый бор. По реке ходили барки. А теперь всё ровно и гладко, и на том берегу стоит одна только березка, молоденькая и стройная, как барышня, а на реке только утки да гуси, и не похоже, чтобы здесь когда-нибудь ходили барки. Кажется, против прежнего и гусей стало меньше. Яков закрыл глаза, и в воображении его одно навстречу другому понеслись громадные стада белых гусей.

Он недоумевал, как это вышло так, что за последние сорок или пятьдесят лет своей жизни он ни разу не был на реке, а если, может, и был, то не обратил на нее внимания? Ведь река порядочная, не пустячная; на ней можно было бы завести рыбные ловли, а рыбу продавать купцам, чиновникам и буфетчику на станции и потом класть деньги в банк; можно было бы плавать в лодке от усадьбы к усадьбе и играть на скрипке, и народ всякого звания платил бы деньги; можно было бы попробовать

опять гонять барки — это лучше, чем гробы делать; наконец, можно было бы разводиться гусей, бить их и зимой отправлять в Москву; небось одного пуху в год набралось бы рублей на десять. Но он прозевал, ничего этого не сделал. Какие убытки! Ах, какие убытки! А если бы всё вместе — и рыбу ловить, и на скрипке играть, и барки гонять, и гусей бить, то какой получился бы капитал! Но ничего этого не было даже во сне, жизнь прошла без пользы, без всякого удовольствия, пропала зря, ни за понюшку табаку; впереди уже ничего не осталось, а посмотришь назад — там ничего, кроме убытков, и таких страшных, что даже озноб берет. И почему человек не может жить так, чтобы не было этих потерь и убытков? Спрашивается, зачем срубили березняк и сосновый бор? Зачем даром гуляет выгон? Зачем люди делают всегда именно не то, что нужно? Зачем Яков всю свою жизнь бранился, рычал, бросался с кулаками, обижал свою жену и, спрашивается, для какой надобности давеча напугал и оскорбил жида? Зачем вообще люди мешают жить друг другу? Ведь от этого какие убытки! Какие страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу.

Вечером и ночью мерещились ему младенец, верба, рыба, битые гуси, и Марфа, похожая в профиль на птицу, которой хочется пить, и бледное, жалкое лицо Ротшильда, и какие-то морды надвигались со всех сторон и бормотали про убытки. Он ворочался с боку на бок и раз пять вставал с постели, чтобы поиграть на скрипке.

Утром через силу поднялся и пошел в больницу. Тот же Максим Николаич приказал ему прикладывать к голове холодный компресс, дал порошки, и по выражению его лица и по тону Яков понял, что дело плохо и что уж никакими порошками не поможешь. Идя потом домой, он соображал, что от смерти будет одна только польза: не надо ни есть, ни пить, ни платить податей, ни обижать людей, а так как человек лежит в могилке не один год, а сотни, тысячи лет, то, если сосчитать, польза окажется громадная. От жизни человеку — убыток, а от смерти — польза. Это соображение, конечно, справедливо, но все-таки обидно и горько: зачем на свете такой странный порядок, что жизнь, которая дается человеку только один раз, проходит без пользы?

Не жалко было умирать, но как только дома он увидел скрипку, у него сжалось сердце и стало жалко. Скрипку нельзя взять с собой в могилу, и теперь она останется сиротой и с нею случится то же, что с березняком и с сосновым бором. Всё на этом свете пропадало и будет пропадать! Яков вышел из избы и сел у порога, прижимая к груди скрипку. Думая о пропащей, убыточной жизни, он заиграл, сам не зная что, но вышло жалобно и трогательно, и слезы потекли у него по щекам. И чем крепче он думал, тем печальнее пела скрипка.

Скрипнула щеколда раз-другой, и в калитке показался Ротшильд. Половину двора прошел он смело, но, увидев Якова, вдруг остановился, весь съежился и, должно быть, от страха стал делать руками такие знаки, как будто хотел показать на пальцах, который теперь час.

— Подойди, ничего, — сказал ласково Яков и поманил его к себе. — Подойди!

Глядя недоверчиво и со страхом, Ротшильд стал подходить и остановился от него на сажень.

— А вы, сделайте милость, не бейте меня! — сказал он, приседая. — Меня Моисей Ильич опять послали. Не бойся, говорят, поди опять до Якова и скажи, говорят, что без их никак невозможно. В среду швадьба... Да-а! Господин Шаповалов выдают дочку жа хорошего целовека... И швадьба будет богатая, у-у! — добавил жид и прищурил один глаз.

— Не могу... — проговорил Яков, тяжело дыша. — Захворал, брат.

И опять заиграл, и слезы брызнули из глаз на скрипку. Ротшильд внимательно слушал, ставши к нему боком и скрестив на груди руки. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице мало-помалу сменилось скорбным и страдальческим, он закатил глаза, как бы испытывая мучительный

восторг, и проговорил: «Ваххх!..» И слезы медленно потекли у него по щекам и закапали на зеленый сюртук.

И потом весь день Яков лежал и тосковал. Когда вечером батюшка, исповедуя, спросил его, не помнит ли он за собою какого-нибудь особенного греха, то он, напрягая слабеющую память, вспомнил опять несчастное лицо Марфы и отчаянный крик жиды, которого укусила собака, и сказал едва слышно:

— Скрипку отдайте Ротшильду.

— Хорошо, — ответил батюшка.

И теперь в городе все спрашивают: откуда у Ротшильда такая хорошая скрипка? Купил он ее или украл, или, быть может, она попала к нему в заклад? Он давно уже оставил флейту и играет теперь только на скрипке. Из-под смычка у него льются такие же жалобные звуки, как в прежнее время из флейты, но когда он старается повторить то, что играл Яков, сидя на пороге, то у него выходит нечто такое унылое и скорбное, что слушатели плачут, и сам он под конец закатывает глаза и говорит: «Ваххх!..» И эта новая песня так понравилась в городе, что Ротшильда приглашают к себе наперерыв купцы и чиновники и заставляют играть ее по десяти раз.

ВОЛОДЯ

В одно из летних воскресений, часов в пять вечера, Володя, семнадцатилетний юноша, некрасивый, болезненный и робкий, сидел в беседке на даче у Шумихиных и скучал. Его невеселые мысли текли по трем направлениям. Во-первых, назавтра, в понедельник, ему предстояло держать экзамен по математике; он знал, что если завтра ему не удастся решить письменную задачу, то его исключат, так как сидел он в шестом классе два года и имел годовую отметку по алгебре 2 3/4. Во-вторых, его пребывание у Шумихиных, людей богатых и претендующих на аристократизм, причиняло постоянную боль его самолюбию. Ему казалось, что т-те Шумихина и ее племянницы глядят на него и его татап, как на бедных родственников и приживалов, что они не уважают татап и смеются над ней. Раз он нечаянно подслушал, как т-те Шумихина говорила на террасе своей кухне Анне Федоровне, что его татап продолжает еще молодиться и наводит на себя красоту, что она никогда не платит проигрыша и имеет пристрастие к чужим ботинкам и к чужому табаку. Каждый день Володя умолял татап не ездить к Шумихиным, описывал ей, какую обидную роль играет она у этих господ, убеждал, говорил дерзости, но та, легкомысленная, избалованная, прожившая на своем веку два состояния - свое и мужнино, всегда тяготеющая к высшему обществу, не понимала его, и Володя два два в неделю должен был провожать ее на ненавистную дачу.

В-третьих, юноша ни на минуту не мог отделаться от странного, неприятного чувства, которое было для него совершенно ново... Ему казалось, что он был влюблен в кузину и гостью Шумихиной, Анну Федоровну. Это была подвижная, голосистая и смешливая барынька, лет тридцати, здоровая, крепкая, розовая, с круглыми плечами, круглым жирным подбородком и с постоянной улыбкой на тонких губах. Она была некрасива и не молода - Володя отлично знал это, но почему-то он был не в силах не думать о ней, не глядеть на нее, когда она, играя в крокет, пожимала своими круглыми плечами и двигала гладкой спиной или же после долгого смеха и беготни по лестницам падала в кресло и, зажмурив глаза, тяжело дыша, делала вид, что ее груди тесно и душно. Она была замужем. Ее муж, солидный архитектор, раз в неделю приезжал на дачу, отлично высыпался и возвращался назад в город. Странное чувство началось у Володи с того, что он беспричинно возненавидел этого архитектора и радовался всякий раз, когда тот уезжал в город.

Теперь, сидя в беседке и думая о завтрашнем экзамене и о татап, над которой смеются, он чувствовал сильное желание видеть Нюту (так Шумихины называли Анну Федоровну), слышать ее смех, шорох ее платья... Это желание не походило на ту чистую, поэтическую любовь, которая была знакома ему по романам и о которой он мечтал каждый вечер, ложась спать; оно было странно, непонятно, он стыдился его и боялся, как чего-то очень нехорошего и нечистого, в чем тяжело сознаваться перед самим собой...

- Это не любовь, - говорил он себе. - В тридцатилетних и замужних не влюбляются... Это просто маленькая интрижка... Да, интрижка...

Думая об интрижке, он вспоминал про свою непобедимую робость, про отсутствие усов, веснушки, узкие глаза, ставил себя в воображении рядом с Ньютою - и эта пара казалась ему невозможной; тогда спешил он вообразить себя красивым, смелым, остроумным, одетым по самой последней моде...

В самый разгар мечтаний, когда он, сгорбившись и глядя в землю, сидел в темном уголке беседки, послышались легкие шаги. Кто-то не спеша шел по аллее. Скоро шаги затихли и у входа мелькнуло что-то белое.

- Есть здесь кто-нибудь? - спросил женский голос.

Володя узнал этот голос и испуганно поднял голову.

- Кто тут? - спрашивала Нюта, входя в беседку. - Ах, это вы, Володя? Что вы здесь делаете? Думаете? И как это можно всё думать, думать, думать... этак можно с ума сойти!

Володя поднялся и растерянно поглядел на Нюту. Она только что вернулась из купальни. На ее плечах висели простыня и мохнатое полотенце, и из-под белого шелкового платка на голове выглядывали мокрые волосы, прилипшие ко лбу. От нее шел влажный, прохладный запах купальни и миндального мыла. От быстрой ходьбы она запыхалась. Верхняя пуговка ее блузы была расстегнута, так что юноша видел и шею и грудь.

- Что же вы молчите? - спросила Нюта, оглядывая Володю. - Невежливо молчать, когда с вами говорит дама. Какой вы, однако, тюлень, Володя! Вы всё сидите, молчите, думаете, как философ какой-нибудь. В вас совсем нет жизни и огня! Противный вы, право... В ваши годы нужно жить, прыгать, болтать, ухаживать за женщинами, влюбляться.

Володя глядел на простыню, которую поддерживала белая, пухлая рука, и думал...

- Молчит! - удивлялась Нюта. - Это даже странно... Послушайте, будьте мужчиной! Ну, хоть улыбнитесь! Фу, противный философ! - засмеялась она. А знаете, Володя, отчего вы такой тюлень? Оттого, что не ухаживаете за женщинами. Отчего вы не ухаживаете? Правда, здесь барышень нет, но ведь вам ничто не мешает ухаживать за дамами! Отчего вы, например, за мной не ухаживаете?

Володя слушал и в тяжелом, напряженном раздумье почесывал себе висок.

- Молчат и любят уединение только очень гордые люди, - продолжала Нюта, отдергивая его руку от виска. - Вы гордец, Володя. Почему вы глядите исподлобья? Извольте мне глядеть прямо в лицо! Да ну же, тюлень!

Володя решил заговорить. Желая улыбнуться, он задергал нижней губой, замигал глазами и опять потянул руку к виску.

- Я... я люблю вас! - проговорил он.

Нюта удивленно подняла брови и засмеялась.

- Что слышу я?! - запела она, как поют оперные певцы, когда слышат что-нибудь ужасное. - Как? Что вы сказали? Повторите, повторите...

Я... я люблю вас! - повторил Володя.

И уж без всякого участия своей воли, ничего не понимая и не соображая, он сделал полшага к Нюте и взял ее за руку выше кисти. В глазах его помутилось и выступили слезы, весь мир обратился в одно большое, мохнатое полотенце, от которого пахло купальней.

- Bravo, bravo! - услышал он веселый смех. - Что же вы молчите? Мне хочется, чтобы вы говорили! Ну?

Видя, что ему не мешают держать руку, Володя взглянул на смеющееся лицо Нюты и неуклюже, неудобно взял обеими руками ее за талию, причем кисти обеих рук его сошлись на ее спине. Он держал ее обеими руками за талию, а она, закинув на затылок руки и показывая ямочки на локтях, поправляла под платком прическу и говорила покойным голосом:

- Надо, Володя, быть ловким, любезным, милым, а таким можно сделаться под влиянием только женского общества. Однако, какое у вас нехорошее... злое лицо. Надо говорить, смеяться... Да, Володя, не будьте букой, вы молоды и успеете еще нафилософствоваться. Ну, пустите меня, я пойду. Пустите же!

Она без усилия освободила свою талию и, что-то напевая, вышла из беседки. Володя остался один. Он пригладил свои волосы, улыбнулся и раза три прошелся из угла в угол, потом сел на скамью

и улыбнулся еще раз. Ему было невыносимо стыдно, так что даже он удивлялся, что человеческий стыд может достигать такой остроты и силы. От стыда он улыбался, шептал какие-то несвязные слова и жестикулировал.

Ему было стыдно, что с ним только что обошлись, как с мальчиком, стыдно за свою робость, а главное за то, что он осмелился взять порядочную замужнюю женщину за талию, хотя ни по возрасту, ни по своим наружным качествам, ни по общественному положению он, как ему казалось, не имел на это никакого права.

Он вскочил, вышел из беседки и, не оглядываясь, пошел в глубину сада подальше от дома.

"Ах, поскорее бы уехать отсюда! - думал он, хватая себя за голову. Боже, поскорее бы!"

Поезд, на котором должен был ехать Володя с маман, отходил в восемь часов сорок минут. Оставалось до поезда около трех часов, но он с наслаждением ушел бы на станцию сейчас же, не дожидаясь маман.

В восьмом часу он подходил к дому. Вся его фигура изображала решимость: что будет, то будет! Он решился войти смело, глядеть прямо, говорить громко, несмотря ни на что.

Он прошел террасу, большую залу, гостиную и остановился в последней, чтобы перевести дух. Отсюда слышно было, как в соседней столовой пили чай. М-ме Шумихина, маман и Нюта о чем-то говорили и смеялись.

Володя прислушался.

- Уверю вас! - говорила Нюта. - Я своим глазам не верила! Когда он стал объясняться мне в любви и даже, представьте, взял меня за талию, я не узнала его. И знаете, у него есть манера! Когда он сказал, что влюблен в меня, то в лице у него было что-то зверское, как у черкеса.

- Неужели! - ахнула маман, закатываясь протяжным смехом. - Неужели! Как он напоминает мне своего отца!

Володя побежал назад и выскочил на свежий воздух. "И как они могут говорить вслух об этом! - мучился он, всплескивая руками и с ужасом глядя на небо. - Говорят вслух, хладнокровно... И маман смеялась... маман! Боже мой, зачем ты дал мне такую мать? Зачем?"

Но идти в дом нужно было, во что бы то ни стало. Он раза три прошелся по аллее, немного успокоился и вошел в дом.

- Что же вы не приходите вовремя чай пить? - строго спросила m-me Шумихина.

- Виноват, мне... мне пора ехать, - забормотал он, не поднимая глаз. Маман, уж восемь часов!

- Поезжай сам, мой милый, - сказала томно маман, - я остаюсь ночевать у Лили. Прощай, мой друг... Дай я тебя перекрещу...

Она перекрестила сына и сказала по-французски, обращаясь к Нюте:

- Он немного похож на Лермонтова... Не правда ли?

Кое-как простившись и не взглянув ни на чье лицо, Володя вышел из столовой. Через десять минут он уж шагал по дороге к станции и был рад этому. Теперь уж ему не было ни страшно, ни стыдно, дышалось легко и свободно.

В полуверсте от станции он сел на камень у дороги и стал глядеть на солнце, которое больше чем наполовину спряталось за насыпь. На станции уж кое-где зажглись огни, замелькал один мутный зеленый огонек, но поезда еще не было видно. Володе приятно было сидеть, не двигаться и прислушиваться к тому, как мало-помалу наступал вечер. Сумрак беседки, шаги, запах купальни, смех

и талия - всё это с поразительной ясностью предстало в его воображении и всё это уж не было так страшно и значительно, как раньше...

"Пустяки... Она не отдернула руку и смеялась, когда я держал ее за талию, - думал он, - значит, ей это нравилось. Если б ей это было противно, то она рассердилась бы..."

И теперь Володе стало досадно, что там, в беседке, у него было недостаточно смелости. Ему стало жаль, что он так глупо уезжает, и уж он был уверен, что если бы тот случай повторился, то он был бы смелее и проще смотрел бы на вещи.

А случаю повториться нетрудно. У Шумихиных после ужина долго гуляют. Если Володя пойдет гулять с Нютой по темному саду, то - вот и случай!

"Вернусь, - думал он, - а уеду завтра с утренним поездом... Скажу, что опоздал к поезду".

И он вернулся... М-ме Шумихина, мама, Нюта и одна из племянниц сидели на террасе и играли в винт. Когда Володя солгал им, что опоздал к поезду, они обеспокоились, как бы он завтра не опоздал к экзамену, и посоветовали ему встать пораньше. Все время, пока они играли в карты, он сидел в стороне, жадно оглядывал Нюту и ждал... В его голове уж готов был план: он подойдет в потемках к Нюте, возьмет ее за руку, потом обнимет; говорить ничего не нужно, так как обоим всё будет понятно без разговоров.

Но после ужина дамы не пошли гулять в сад и продолжали играть в карты. Играли они до часа ночи и потом разошлись спать.

"Как это всё глупо! - досадовал Володя, ложась в постель. - Но ничего, погожу завтрашнего дня... Завтра опять в беседке. Ничего..."

Он не старался уснуть, а сидел в постели, обняв руками колена, и думал. Мысль об экзамене была ему противна. Он уж решил, что его исключат и что в этом исключении нет ничего ужасного. Напротив, всё очень хорошо, даже очень. Завтра он будет свободен, как птица, наденет партикулярное платье, будет курить явно, ездить сюда и ухаживать за Нютой, когда угодно; и уж он будет не гимназистом, а "молодым человеком". А остальное, что называется карьерой и будущим, так ясно: Володя поступит в вольноопределяющиеся, в телеграфисты, наконец, в аптеку, где дослужится до провизора... мало ли должностей? Прошел час-другой, а он всё сидел и думал...

В третьем часу, когда уж светало, дверь осторожно скрипнула и в комнату вошла мама.

- Ты не спишь? - спросила она, зевая. - Спи, спи, я на минутку... Я только капли возьму...

- Зачем вам?

- У бедной Лили опять спазмы. Спи, дитя мое, у тебя завтра экзамен...

Она достала из шкапчика флакон с чем-то, подошла к окну, прочла сигнатурку и вышла.

- Марья Леонтьевна, это не те капли! - услышал через минуту Володя женский голос. - Это ландыш, а Лили просит морфин. Ваш сын спит? Попросите его, чтобы он отыскал...

Это был голос Нюты. Володя похолодел. Он быстро надел брюки, накинул на плечи шинель и пошел к двери.

- Понимаете? Морфин! - объясняла шёпотом Нюта. - Там должно быть написано по-латыни. Разбудите Володю, он найдет...

Мама открыла дверь, и Володя увидел Нюту. Она была в той же самой блузе, в какой ходила купаться. Волосы ее были не причесаны, разбросаны по плечам, лицо заспанное, смуглое от сумерек...

- Вот Володя не спит... - сказала она. - Володя, поищите, голубчик, в шкапе морфин! Наказание с этой Лили... Вечно у нее что-нибудь.

Мамап что-то пробормотала, зевнула и ушла.

- Ищите же, - сказала Нюта. - Что стоите?

Володя пошел к шкафчику, присел на колени и стал перебирать флаконы и коробки с лекарствами. Руки у него дрожали, а в груди и в животе было такое ощущение, как будто по всем его внутренностям бегали холодные волны. От запаха эфира, карболовой кислоты и разных трав, за которые он без всякой надобности хватался дрожащими руками и которые рассыпались от этого, ему было душно и кружилась голова.

"Кажется, мамап ушла, - думал он. - Это хорошо... хорошо..."

- Скоро же? - спросила протяжно Нюта.

- Сейчас... Вот это, кажется, морфин... - сказал Володя, прочитав на одной из сигнатур слово "morph..." - Извольте!

Нюта стояла в дверях так, что одна нога ее была в коридоре, а другая в его комнате. Она поправляла свои волосы, которые трудно было поправить так они были густы и длинны! - и рассеянно глядела на Володю. В просторной блузе, заспанная, с распущенными волосами, при том скудном свете, какой шел в комнату от белого, но еще не освещенного солнцем неба, она показалась Володе обаятельной, роскошной... Очарованный, дрожа всем телом и с наслаждением вспоминая о том, как он обнимал это чудное тело в беседке, он подал ей капли и сказал:

- Какая вы...

- Что?

Она вошла в комнату.

- Что? - спросила она, улыбаясь.

Он молчал и смотрел на нее, потом, как тогда в беседке, взял за руку... А она смотрела на него, улыбалась и ждала: что будет дальше?

- Я вас люблю... - прошептал он.

Она перестала улыбаться, подумала и сказала:

- Погодите, кажется, кто-то идет. Ох, уж эти мне гимназисты! говорила она вполголоса, идя к двери и выглядывая в коридор. - Нет, никого не видно...

Она вернулась...

Затем Володе показалось, что комната, Нюта, рассвет и сам он - всё слилось в одно ощущение острого, необыкновенного, небывалого счастья, за которое можно отдать всю жизнь и пойти на вечную муку, но прошло полминуты, и всё это вдруг исчезло. Володя видел одно только полное, некрасивое лицо, искаженное выражением гадливости, и сам вдруг почувствовал отвращение к тому, что произошло.

- Однако мне нужно уходить, - сказала Нюта, безглаголиво оглядывая Володю. - Какой некрасивый, жалкий... фи, гадкий утенок!

Как теперь Володе казались безобразны ее длинные волосы, просторная блуза, ее шаги, голос!..

"Гадкий утенок... - думал он после того, как она ушла. - В самом деле я гадок... Всё гадко".

На дворе уж восходило солнце, громко пели птицы; слышно было, как в саду шагал садовник и как скрипела его тачка... А немного погодя послышалось мычанье коров и звуки пастушеской свирели. Солнечный свет и звуки говорили, что где-то на этом свете есть жизнь чистая, изящная, поэтическая. Но где она? О ней никогда не говорили Володе ни татап, ни все те люди, которые окружали его.

Когда лакей будил его к утреннему поезду, он представился спящим...

"Ну его, всё к чёрту!" - думал он.

Встал он с постели в одиннадцатом часу. Причесываясь перед зеркалом и глядя на свое некрасивое, бледное от бессонной ночи лицо, он подумал:

"Совершенно верно... Гадкий утенок".

Когда татап увидела его и ужаснулась, что он не на экзамене, Володя сказал:

- Я проспал, татап... Но вы не беспокойтесь, я представлю медицинское свидетельство.

М-ме Шумихина и Нюта проснулись в первом часу. Володя слышал, как проснувшаяся м-ме Шумихина со звоном открыла у себя окно, как на ее грубый голос ответила Нюта раскатистым смехом. Он видел, как отворилась дверь и из гостиной потянулась к завтраку вереница племянниц и приживалок (в толпе последних была и татап), как замелькало умытое, смеющееся лицо Нюты, а рядом с ее лицом черные брови и борода только что приехавшего архитектора.

Нюта была в малороссийском костюме, который совсем не шел к ней и делал ее неуклюжею; архитектор острил пошло и плоско; в котлетах, что подавали за завтраком, было очень много луку - так казалось Володе. Ему также казалось, что Нюта нарочно громко хохотала и поглядывала в его сторону, чтобы этим дать понять ему, что воспоминание о ночи нисколько не беспокоит ее и что она не замечает присутствия за столом гадкого утенка.

В четвертом часу Володя ехал с татап на станцию. Грязные воспоминания, бессонная ночь, предстоящее исключение из гимназии, угрызения совести - всё это возбуждало в нем теперь тяжелую, мрачную злобу. Он глядел на тощий профиль татап, на ее маленький носик, на ватерпруф, подаренный ей Нютою, и бормотал:

- Зачем вы пудритесь? Это не пристало в ваши годы! Вы наводите на себя красоту, не платите проигрыша, курите чужой табак... противно! Я вас не люблю... не люблю!

Он оскорблял ее, а она испуганно поводила своими глазками, всплескивала ручками и шептала в ужасе:

- Что ты, друг мой? Боже мой, кучер услышит! Замолчи, а то кучер услышит! Ему всё слышно!

- Не люблю... не люблю! - продолжал он, задыхаясь. - Вы безнравственная, бездушная... Не смейте носить этого ватерпруфа! Слышите? А то я изорву его в клочки...

- Опомнись, дитя мое! - заплакала татап. - Кучер услышит!

- А где состояние моего отца? Где ваши деньги? Вы всё промотали! Мне не стыдно своей бедности, но стыдно, что у меня такая мать... Когда мои товарищи спрашивают о вас, я всегда краснею.

На поезде пришлось ехать до города две станции. Всё время Володя стоял на площадке и дрожал всем телом. Ему не хотелось входить в вагон, так как там сидела мать, которую он ненавидел. Ненавидел он самого себя, кондукторов, дым от паровоза, холод, которому приписывал свою дрожь... И чем тяжелее становилось у него на душе, тем сильнее он чувствовал, что где-то на этом свете, у каких-то людей есть жизнь чистая, благородная, теплая, изящная, полная любви, ласк, веселья, раздолья... Он чувствовал это и тосковал так сильно, что даже один пассажир, пристально поглядев ему в лицо, спросил:

- Вероятно, у вас зубы болят?

В городе татап и Володя жили у Марьи Петровны, дамы-дворянки, которая нанимала большую квартиру и от себя сдавала ее жильцам. Матап нанимала две комнаты: в одной, с окнами, где стояла ее кровать и висели на стенах две картины в золотых рамах, жила она сама, а в другой, смежной, маленькой и темной, жил Володя. Тут стоял диван, на котором он спал, и кроме этого дивана не было никакой другой мебели; вся комната была занята плетеными корзинами с платьем, картонками от шляп и всяким хламом, который для чего-то берегла татап. Уроки приготавливал Володя в комнате матери или в "общей" - так называлась большая комната, куда все жильцы сходились во время обеда и по вечерам.

Вернувшись домой, он лег на диван и укрылся одеялом, чтобы унять дрожь. Картонки от шляп, плетенки и хлам напомнили ему, что у него нет своей комнаты, нет приюта, где бы он мог спрятаться от татап, от ее гостей и от голосов, которые доносились теперь из "общей"; ранец и книги, разбросанные по углам, напомнили ему об экзамене, на котором он не был.. Почему-то совсем некстати пришла ему на память Ментона, где он жил со своим покойным отцом, когда был семи лет; припомнились ему Биарриц и две девочки-англичанки, с которыми он бегал по песку... Захотелось возобновить в памяти цвет неба и океана, высоту волн и свое тогдашнее настроение, но это не удалось ему; девочки-англичанки промелькнули в воображении, как живые, всё же остальное смешалось, беспорядочно расплылось...

"Нет, здесь холодно", - подумал Володя, встал, надел шинель и пошел в "общую".

В "общей" пили чай. За самоваром сидели трое: татап, учительница музыки, старушка в черепашковом ринсе-нез и Августин Михайлыч, пожилой, очень толстый француз, служивший на парфюмерной фабрике.

- Я сегодня не обедала, - говорила татап. - Надо бы горничную послать за хлебом.

- Дуняш! - крикнул француз.

Оказалось, что горничную услала куда-то хозяйка.

- О, это ничего не означает, - сказал француз, широко улыбаясь. - Я сейчас сам схожу за хлебом. О, это ничего!

Он положил свою крепкую, вонючую сигару на видное место, надел шляпу и вышел. По уходе его татап стала рассказывать учительнице музыки о том, как она гостила у Шумихиных и как хорошо ее там принимали.

- Ведь Лили Шумихина моя родственница... - говорила она. - Ее покойный муж, генерал Шумихин, приходится кузеном моему мужу. А сама она урожденная баронесса Кольб...

- Матап, это неправда! - сказал раздраженно Володя. - Зачем лгать?

Он знал отлично, что татап говорит правду; в ее рассказе о генерале Шумихине и урожденной баронессе Кольб не было ни одного слова лжи, но тем не менее все-таки он чувствовал, что она лжет. Ложь чувствовалась в ее манере говорить, в выражении лица, во взгляде, во всем.

- Вы лжете! - повторил Володя и ударил кулаком по столу с такой силой, что задрожала вся посуда и у татап расплескался чай. - Для чего вы рассказываете про генералов и баронесс? Всё это ложь!

Учительница музыки растерялась и закашляла в платок, делая вид, что она поперхнулась, а татап заплакала.

"Куда уйти?" - подумал Володя.

На улице он уж был; к товарищам идти стыдно. Опять некстати припомнились ему две девочки-англичанки... Он прошелся из угла в угол по "общей" и вошел в комнату Августина Михайлыча. Тут сильно пахло эфирными маслами и глицериновым мылом. На столе, на окнах и даже на стульях стояло множество флаконов, стаканчиков и рюмок с разноцветными жидкостями. Володя взял со стола газету, развернул ее и прочел заглавие: "Figaro"... Газета издавала какой-то сильный и приятный запах. Потом он взял со стола револьвер...

- Полноте, не обращайтесь внимания! - утешала в соседней комнате учительница музыки татап.
- Он еще так молод! В его годы молодые люди всегда позволяют себе лишнее. С этим надо мириться.

- Нет, Евгения Андреевна, он слишком испорчен! - говорила татап нараспев. - Над ним нет старшего, а я слаба и ничего не могу сделать. Нет, я несчастна!

Володя вложил дуло револьвера в рот, нащупал что-то похожее на курок или собачку и надавил пальцем... Потом нащупал еще какой-то выступ и еще раз надавил. Вынув дуло изо рта, он вытер его о полу шинели, оглядел замок; раньше он никогда в жизни не брал в руки оружия...

- Кажется, это надо поднять... - соображал он. - Да, кажется...

В "общую" вошел Августин Михайлыч и хохоча стал рассказывать о чем-то. Володя опять вложил дуло в рот, сжал его зубами и надавил что-то пальцем. Раздался выстрел... Что-то с страшною силою ударило Володю по затылку, и он упал на стол, лицом прямо в рюмки и во флаконы. Затем он увидел, как его покойный отец в цилиндре с широкой черной лентой, носивший в Ментоне траур по какой-то даме, вдруг охватил его обеими руками и оба они полетели в какую-то очень темную, глубокую пропасть.

Потом всё смешалось и исчезло...

ВРАГИ

В десятом часу темного сентябрьского вечера у земского доктора Кирилова скончался от дифтерита его единственный сын, шестилетний Андрей. Когда докторша опустилась на колени перед кроватью умершего ребенка и ею овладел первый приступ отчаяния, в передней резко прозвучал звонок.

По случаю дифтерита вся прислуга еще с утра была выслана из дому. Кирилов, как был, без куртки, в расстегнутой жилетке, не вытирая мокрого лица и рук, обожженных карболкой, пошел сам отворять дверь. В передней было темно, и в человеке, который вошел, можно было различить только средний рост, белое кашне и большое, чрезвычайно бледное лицо, такое бледное, что, казалось, от появления этого лица в передней стало светлее...

— Доктор у себя? — быстро спросил вошедший.

— Я дома. — ответил Кирилов. — Что вам угодно?

— А, это вы? Очень рад! — обрадовался вошедший и стал искать в потемках руку доктора, нашел ее и крепко стиснул в своих руках. — Очень... очень рад! Мы с вами знакомы!.. Я — Абогин... имел удовольствие видеть вас летом у Гнучева. Очень рад, что застал... Бога ради, не откажите поехать сейчас со мной... У меня опасно заболела жена... И экипаж со мной...

По голосу и движениям вошедшего заметно было, что он находился в сильно возбужденном состоянии. Точно испуганный пожаром или бешеной собакой, он едва сдерживал свое частое дыхание и говорил быстро, дрожащим голосом, и что-то неподдельно искреннее, детски-малодушное звучало в его речи. Как все испуганные и ошеломленные, он говорил короткими, отрывистыми фразами и произносил много лишних, совсем не идущих к делу слов.

— Я боялся не застать вас, — продолжал он. — Пока ехал к вам, исстрадался душой... Одевайтесь и едемте, ради Бога... Произошло это таким образом. Приезжает ко мне Папчинский, Александр Семенович, которого вы знаете... Поговорили мы... потом сели чай пить; вдруг жена вскрикивает, хватая себя за сердце и падает на спинку стула. Мы отнесли ее на кровать и... я уж и нашатырным спиртом тер ей виски, и водой брызгал... лежит, как мертвая... Боюсь, что это аневризма... Поедемте... У нее и отец умер от аневризмы...

Кирилов слушал и молчал, как будто не понимал русской речи.

Когда Абогин еще раз упомянул про Папчинского и про отца своей жены и еще раз начал искать в потемках руку, доктор встряхнул головой и сказал, апатично растягивая каждое слово:

— Извините, я не могу ехать... Минут пять назад у меня... умер сын...

— Неужели? — прошептал Абогин, делая шаг назад. — Боже мой, в какой недобрый час я попал! Удивительно несчастный день... удивительно! Какое совпадение... и как нарочно!

Абогин взялся за ручку двери и в раздумье поник головой. Он, видимо, колебался и не знал, что делать: уходить или продолжать просить доктора.

— Послушайте, — горячо сказал он, хватая Кирилова за рукав, — я отлично понимаю ваше положение! Видит Бог, мне стыдно, что я в такие минуты пытаюсь овладеть вашим вниманием, но что же мне делать? Судите сами, к кому я поеду? Ведь, кроме вас, здесь нет другого врача. Поедемте ради Бога! Не за себя я прошу... Не я болен!

Наступило молчание. Кирилов повернулся спиной к Абогину, постоял и медленно вышел из передней в залу. Судя по его неверной, машинальной походке, по тому вниманию, с каким он в зале поправил на негоревшей лампе мохнатый абажур и заглянул в толстую книгу, лежавшую на столе, в эти минуты у него не было ни намерений, ни желаний, ни о чем он не думал и, вероятно, уже не

помнил, что у него в передней стоит чужой человек. Сумерки и тишина залы, по-видимому, усилили его ошалелость. Идя из залы к себе в кабинет, он поднимал правую ногу выше, чем следует, искал руками дверных косяков, и в это время во всей его фигуре чувствовалось какое-то недоумение, точно он попал в чужую квартиру или же первый раз в жизни напился пьян и теперь с недоумением отдавался своему новому ощущению. По одной стене кабинета, через шкапы с книгами, тянулась широкая полоса света; вместе с тяжелым, спертым запахом карболки и эфира этот свет шел из слегка отворенной двери, ведущей из кабинета в спальню... Доктор опустил в кресло перед столом; минуту он сонливо глядел на свои освещенные книги, потом поднялся и пошел в спальню.

Здесь, в спальне, царил мертвый покой. Всё до последней мелочи красноречиво говорило о недавно пережитой буре, об утомлении, и всё отдыхало. Свечка, стоявшая на табурете в тесной толпе стглянок, коробок и баночек, и большая лампа на комодке ярко освещали всю комнату. На кровати, у самого окна, лежал мальчик с открытыми глазами и удивленным выражением лица. Он не двигался, пооткрытые глаза его, казалось, с каждым мгновением всё более темнели и уходили вовнутрь черепа. Положив руки на его туловище и спрятав лицо в складки постели, перед кроватью стояла на коленях мать. Подобно мальчику, она не шевелилась, но сколько живого движения чувствовалось в изгибах ее тела и в руках! Припала она к кровати всем своим существом, с силой и жадностью, как будто боялась нарушить покойную и удобную позу, которую наконец нашла для своего утомленного тела. Одежда, тряпки, тазы, лужи на полу, разбросанные повсюду кисточки и ложки, белая бутылка с известковой водой, самый воздух, удушливый и тяжелый, — всё замерло и казалось погруженным в покой.

Доктор остановился около жены, засунул руки в карманы брюк и, склонив голову набок, устремил взгляд на сына. Лицо его выражало равнодушие, только по росинкам, блестящим на его бороде, и заметно было, что он недавно плакал.

Тот отталкивающий ужас, о котором думают, когда говорят о смерти, отсутствовал в спальне. Во всеобщем столбняке, в позе матери, в равнодушии докторского лица лежало что-то притягивающее, трогающее сердце, именно та тонкая, едва уловимая красота человеческого горя, которую не скоро еще научатся понимать и описывать и которую умеет передавать, кажется, одна только музыка. Красота чувствовалась и в угрюмой тишине; Кирилов и его жена молчали, не плакали, как будто, кроме тяжести потери, сознавали также и весь лиризм своего положения: как когда-то, в свое время, прошла их молодость, так теперь, вместе с этим мальчиком, уходило навсегда в вечность и их право иметь детей! Доктору 44 года, он уже сед и выглядит стариком: его поблекшей и больной жене 35 лет. Андрей был не только единственным, но и последним.

В противоположность своей жене доктор принадлежал к числу натур, которые во время душевной боли чувствуют потребность в движении. Постояв около жены минут пять, он, высоко поднимая правую ногу, из спальни прошел в маленькую комнату, наполовину занятую большим, широким диваном; отсюда прошел в кухню. Поблуждав около печки и кухаркиной постели, он нагнулся и сквозь маленькую дверцу вышел в переднюю.

Тут он опять увидел белое кашне и бледное лицо.

— Наконец-то! — вздохнул Абогин, берясь за ручку двери. — Едемте, пожалуйста!

Доктор вздрогнул, поглядел на него и вспомнил...

— Послушайте, ведь я уже сказал вам, что мне нельзя ехать! — сказал он, оживляясь. — Как странно!

— Доктор, я не истукан, отлично понимаю ваше положение... сочувствую вам! — сказал умоляющим голосом Абогин, прикладывая к своему кашне руку. — Но ведь я не за себя прошу...

Умирает моя жена! Если бы вы слышали этот крик, видели ее лицо, то поняли бы мою настойчивость! Боже мой, а уж я думал, что вы пошли одеваться! Доктор, время дорого! Едемте, прошу вас!

— Ехать я не могу! — сказал с расстановкой Кирилов и шагнул в залу.

Абогин пошел за ним и схватил его за рукав.

— У вас горе, я понимаю, но ведь приглашаю я вас не зубы лечить, не в эксперты, а спасать жизнь человеческую! — продолжал он умолять, как нищий. — Эта жизнь выше всякого личного горя! Ну, я прошу мужества, подвига! Во имя человеколюбия!

— Человеколюбие — палка о двух концах! — раздраженно сказал Кирилов. — Во имя того же человеколюбия я прошу вас не увозить меня. И как странно, ей-богу! Я едва на ногах стою, а вы человеколюбием пугаете! Никуда я сейчас не голен... не поеду ни за что, да и на кого я жену оставлю? Нет, нет...

Кирилов замахал кистями рук и попятился назад.

— И... и не просите! — продолжал он испуганно. — Извините меня... По XIII тому законов я обязан ехать, и вы имеете право тащить меня за шиворот... Извольте, тащите, но... я не голен... Даже говорить не в состоянии... Извините...

— Напрасно, доктор, вы говорите со мной таким тоном! — сказал Абогин, опять беря доктора за рукав. — Бог с ним, с XIII томом! Насиловать вашей воли я не имею никакого права. Хотите — поезжайте, не хотите — Бог с вами, но я не к волей вашей обращаюсь, а к чувству. Умирает молодая женщина! Сейчас, вы говорите, у вас умер сын, кому же, как не вам, понять мой ужас?

Голос Абогина дрожал от волнения: в этой дрожи и в тоне было гораздо больше убедительности, чем в словах. Абогин был искренен, но замечательно, какие бы фразы он ни говорил, все они выходили у него ходульными, бездушными, неуместно цветистыми и как будто даже оскорбляли и воздух докторской квартиры и умирающую где-то женщину. Он и сам это чувствовал, а потому, боясь быть непонятым, изо всех сил старался придать своему голосу мягкость и нежность, чтобы взять если не словами, то хотя бы искренностью тона. Вообще фраза, как бы она ни была красива и глубока, действует только на равнодушных, но не всегда может удовлетворить тех, кто счастлив или несчастлив; потому-то высшим выражением счастья или несчастья является чаще всего безмолвие; влюбленные понимают друг друга лучше, когда молчат, а горячая, страстная речь, сказанная на могиле, трогает только посторонних, вдове же и детям умершего кажется она холодной и ничтожной.

Кирилов стоял и молчал. Когда Абогин сказал еще несколько фраз о высоком призвании врача, о самопожертвовании и проч. доктор спросил угрюмо:

— Далеко ехать?

— Что-то около 13—14 верст. У меня отличные лошади, доктор! Даю вам честное слово, что доставлю вас туда и обратно в один час. Только один час!

Последние слова подействовали на доктора сильнее, чем ссылки на человеколюбие или призвание врача. Он подумал и сказал со вздохом:

— Хорошо, едемте!

Он быстро, уже верною походкой пошел к своему кабинету и немного погодя вернулся в длинном сюртуке. Мелко семена возле него и шаркая ногами, обрадованный Абогин помог ему надеть пальто и вместе с ним вышел из дома.

На дворе было темно, но светлее, чем в передней. В темноте уже ясно вырисовывалась высокая сутуловатая фигура доктора с длинной, узкой бородой и с орлиным носом. У Абогина, кроме бледного лица, теперь видна была его большая голова и маленькая, студенческая шапочка, едва прикрывавшая темя. Кашне белело только спереди, позади же оно пряталось за длинными волосами.

— Верьте, я сумею оценить ваше великодушие, — бормотал Абогин, подсаживая доктора в коляску. — Мы живо домчимся. Ты же, Лука, голубчик, поезжай как можно скорее! Пожалуйста!

Кучер ехал быстро. Сначала тянулся ряд невзрачных построек, стоявших вдоль больничного двора; всюду было темно, только в глубине двора из чьего-то окна, сквозь палисадник, пробивался яркий свет, да три окна верхнего этажа больничного корпуса казались бледнее воздуха. Затем коляска въехала в густые потемки; тут пахло грибной сыростью и слышался шёпот деревьев; вороны, разбуженные шумом колес, закопошились в листве и подняли тревожный жалобный крик, как будто знали, что у доктора умер сын, а у Абогина больна жена. Но вот замелькали отдельные деревья, кустарник; сверкнул угрюмо пруд, на котором спали большие черные тени, — и коляска покатила по гладкой равнине. Крик ворон слышался уже глухо, далеко сзади и скоро совсем умолк.

Почти всю дорогу Кирилов и Абогин молчали. Только раз Абогин глубоко вздохнул и пробормотал:

— Мучительное состояние! Никогда так не любишь близких, как в то время, когда рискуешь потерять их.

И когда коляска тихо переезжала реку, Кирилов вдруг встрепенулся, точно его испугал плеск воды, и задвигался.

— Послушайте, отпустите меня, — сказал он тоскливо. — Я к вам потом приеду. Мне бы только фельдшера к жене послать. Ведь она одна!

Абогин молчал. Коляска, покачиваясь и стуча о камни, проехала песочный берег и покатила далее. Кирилов заметался в тоске и поглядел вокруг себя. Позади, сквозь скудный свет звезд, видна была дорога и исчезающие в потемках прибрежные ивы. Направо лежала равнина, такая же ровная и безграничная, как небо; далеко на ней там и сям, вероятно, на торфяных болотах, горели тусклые огоньки. Налево, параллельно дороге, тянулся холм, кудрявый от мелкого кустарника, а над холмом неподвижно стоял большой полумесяц, красный, слегка подернутый туманом и окруженный мелкими облачками, которые, казалось, оглядывали его со всех сторон и стерегли, чтобы он не ушел.

Во всей природе чувствовалось что-то безнадежное, больное; земля, как падшая женщина, которая одна сидит в темной комнате и старается не думать о прошлом, томилась воспоминаниями о весне и лете и апатично ожидала неизбежной зимы. Куда ни взглянешь, всюду природа представлялась темной, безгранично глубокой и холодной ямой, откуда не выбраться ни Кирилову, ни Абогину, ни красному полумесяцу...

Чем ближе к цели была коляска, тем нетерпеливее становился Абогин. Он двигался, вскакивал, вглядывался через плечо кучера вперед. А когда, наконец, коляска остановилась у крыльца, красиво задрапированного полосатой холстиной, и когда он поглядел на освещенные окна второго этажа, слышно было, как дрожало его дыхание.

— Если что случится, то... я не переживу, — сказал он, входя с доктором в переднюю и в волнении потирая руки. — Но не слышно суматохи, значит, пока еще благополучно, — прибавил он, вслушиваясь в тишину.

В передней не слышно было ни голосов, ни шагов, и весь дом казался спавшим, несмотря на яркое освещение. Теперь уж доктор и Абогин, бывшие до сего времени в потемках, могли разглядеть друг друга. Доктор был высок, сутуловат, одет неряшливо и лицо имел некрасивое. Что-то неприятно

резкое, неласковое и суровое выражали его толстые, как у негра, губы, орлиный нос и вялый, равнодушный взгляд. Его нечесаная голова, впалые виски, преждевременные седины на длинной, узкой бороде, сквозь которую просвечивал подбородок, бледно-серый цвет кожи и небрежные, угловатые манеры — всё это своею черствостью наводило на мысль о пережитой нужде, бездолье, об утомлении жизнью и людьми. Глядя на всю его сухую фигуру, не верилось, чтобы у этого человека была жена, чтобы он мог плакать о ребенке. Абогин же изображал из себя нечто другое. Это был плотный; солидный блондин, с большой головой и крупными, но мягкими чертами лица, одетый изящно, по самой последней моде. В его осанке, в плотно застегнутом сюртуке, в гриве и в лице чувствовалось что-то благородное, львиное; ходил он, держа прямо голову и выпятив вперед грудь, говорил приятным баритоном, и в манерах, с какими он снимал свое кашне или поправлял волосы на голове, сквозило тонкое, почти женское изящество. Даже бледность и детский страх, с каким он, раздеваясь, поглядывал вверх на лестницу, не портили его осанки и не умаляли сытости, здоровья и апломба, какими дышала вся его фигура.

— Никого нет и ничего не слышно. — сказал он, идя по лестнице. — Суматохи нет. Дай-то Бог!

Он провел доктора через переднюю в большую залу, где темнел черный рояль и висела люстра в белом чехле; отсюда оба они прошли в маленькую, очень уютную и красивую гостиную, полную приятного розового полумрака.

— Ну, посидите тут, доктор. — сказал Абогин. — а я... сейчас. Я пойду погляжу и предупреджу.

Кирилов остался один. Роскошь гостиной, приятный полумрак и само его присутствие в чужом, незнакомом доме, имевшее характер приключения, по-видимому, не трогали его. Он сидел в кресле и разглядывал свои обожженные карболкой руки. Только мельком увидел он ярко-красный абажур, футляр от виолончели, да, покосившись в ту сторону, где тикали часы, он заметил чучело волка, такого же солидного и сытого, как сам Абогин.

Было тихо... Где-то далеко в соседних комнатах кто-то громко произнес «а»!, прозвенела стеклянная дверь, вероятно, шкапа, и опять всё стихло. Подождав минут пять, Кирилов перестал оглядывать свои руки и поднял глаза на ту дверь, за которой скрылся Абогин.

У порога этой двери стоял Абогин, но не тот, который вышел. Выражение сытости и тонкого изящества исчезло на нем, лицо его, и руки, и поза были исковерканы отвратительным выражением не то ужаса, не то мучительной физической боли. Его нос, губы, усы, все черты двигались и, казалось, старались оторваться от лица, глаза же как будто смеялись от боли...

Абогин тяжело и широко шагнул на середину гостиной, согнулся, простонал и потряс кулаками.

— Обманула! — крикнул он, сильно напирая на слог ну. — Обманула! Ушла! Заболела и услала меня за доктором для того только, чтобы бежать с этим шутом Папчинским! Боже мой!

Абогин тяжело шагнул к доктору, протянул к его лицу свои белые мягкие кулаки и, потрясая ими, продолжал вопить:

— Ушла!! Обманула! Ну, к чему же эта ложь?! Боже мой! Боже мой! К чему этот грязный, шулерский фокус, эта дьявольская, змеиная игра? Что я ей сделал? Ушла!

Слезы брызнули у него из глаз. Он перевернулся на одной ноге и зашагал по гостиной. Теперь в своем коротком сюртуке, в модных узких брюках, в которых ноги казались не по корпусу тонкими, со своей большой головой и гривой он чрезвычайно походил на льва. На равнодушном лице доктора засветилось любопытство. Он поднялся и оглядел Абогина.

— Позвольте, где же больная? — спросил он.

— Больная! Больная! — крикнул Абогин, смеясь, плача и всё еще потрясая кулаками. — Это не больная, а проклятая! Низость! Подлость, гаже чего не придумал бы, кажется, сам сатана! Услала затем, чтобы бежать, бежать с шутком, тупым клоуном, альфонсом! О Боже, лучше бы она умерла! Я не вынесу! Не вынесу я!

Доктор выпрямился. Его глаза замигали, налились слезами, узкая борода задвигалась направо и налево вместе с челюстью.

— Позвольте, как же это? — спросил он, с любопытством оглядываясь. — У меня умер ребенок, жена в тоске, одна на весь дом... сам я едва стою на ногах, три ночи не спал... и что же? Меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии, играть роль бутафорской вещи! Не... не понимаю!

Абогин разжал один кулак, швырнул на пол скомканную записку и наступил на нее, как на насекомое, которое хочется раздавить.

— И я не видел... не понимал! — говорил он сквозь сжатые зубы, потрясая около своего лица одним кулаком и с таким выражением, как будто ему наступили на мозоль. — Я не замечал, что он ездит каждый день, не заметил, что он сегодня приехал в карете! Зачем в карете? И я не видел! Колпак!

— Не... не понимаю! — бормотал доктор. — Ведь это что же такое! Ведь это глумление над личностью, издевательство над человеческими страданиями! Это что-то невозможное... первый раз в жизни вижу!

С тупым удивлением человека, который только что стал понимать, что его тяжело оскорбили, доктор пожал плечами, развел руками и, не зная, что говорить, что делать, в изнеможении опустился в кресло.

— Ну, разлюбила, полюбила другого — Бог с тобой, но к чему же обман, к чему этот подлый, изменнический фортель? — говорил плачущим голосом Абогин. — К чему? И за что? Что я тебе сделал? Послушайте, доктор, — горячо сказал он, подходя к Кирилову. — Вы были невольным свидетелем моего несчастья, и я не стану скрывать от вас правды. Клянусь вам, что я любил эту женщину, любил набожно, как раб! Для нее я пожертвовал всем: поссорился с родней, бросил службу и музыку, прощал ей то, чего не сумел бы простить матери или сестре... Ни разу я не поглядел на нее косо... не подавал никакого повода! За что же эта ложь? Я не требую любви, но зачем этот гнусный обман? Не любишь, так скажи прямо, честно, тем более, что знаешь мои взгляды на этот счет...

Со слезами на глазах, дрожа всем телом, Абогин искренно изливал перед доктором свою душу. Он говорил горячо, прижимая обе руки к сердцу, разоблачал свои семейные тайны без малейшего колебания и как будто даже рад был, что наконец эти тайны вырвались наружу из его груди. Поговори он таким образом час, другой, вылей свою душу, и, несомненно, ему стало бы легче. Кто знает, послушай его доктор, посочувствуй ему дружески, быть может, он, как это часто случается, примирился бы со своим горем без протеста, не делая ненужных глупостей... Но случилось иначе. Пока Абогин говорил, оскорбленный доктор заметно менялся. Равнодушие и удивление на его лице мало-помалу уступили место выражению горькой обиды, негодования и гнева. Черты лица его стали еще резче, черствее и неприятнее. Когда Абогин поднес к его глазам карточку молодой женщины с красивым, но сухим и невыразительным, как у монашенки, лицом и спросил, можно ли, глядя на это лицо, допустить, что оно способно выражать ложь, доктор вдруг вскочил, сверкнул глазами и сказал, грубо отчеканивая каждое слово:

— Зачем вы всё это говорите мне? Не желаю я слушать! Не желаю! — крикнул он и стукнул кулаком по столу. — Не нужны мне ваши пошлые тайны, чёрт бы их взял! Не смеете вы говорить мне эти пошлости! Или вы думаете, что я еще недостаточно оскорблен? Что я лакей, которого до конца можно оскорблять? Да?

Абогин попятился от Кирилова и изумленно уставился на него.

— Зачем вы меня сюда привезли? — продолжал доктор, тряся бородой. — Если вы с жиру женитесь, с жиру беситесь и разыгрываете мелодрамы, то при чем тут я? Что у меня общего с вашими романами? Оставьте меня в покое! Упражняйтесь в благородном кулачестве, рисуйте гуманными идеями, играйте (доктор покосился на футляр с виолончелью) — играйте на контрабасах и тромбонах, жирейте, как каплуны, но не смейте глумиться над личностью! Не умеете уважать ее, так хоть избавьте ее от вашего внимания!

— Позвольте, что это всё значит? — спросил Абогин, краснея.

— А то значит, что низко и подло играть так людьми! Я врач, вы считаете врачей и вообще рабочих, от которых не пахнет духами и проституцией, своими лакеями и моветонами, ну и считайте, но никто не дал вам права делать из человека, который страдает, бутафорскую вещь!

— Как вы смеете говорить мне это? — спросил тихо Абогин, и его лицо опять запрыгало и на этот раз уже ясно от гнева.

— Нет, как вы, зная, что у меня горе, смели привезти меня сюда выслушивать пошлости? — крикнул доктор и опять стукнул кулаком по столу. — Кто вам дал право так издеваться над чужим горем?

— Вы с ума сошли! — крикнул Абогин. — Не великодушно! Я сам глубоко несчастлив и... и...

— Несчастлив, — презрительно ухмыльнулся доктор. — Не трогайте этого слова, оно вас не касается. Шалопаи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив. Ничтожные люди!

— Милостивый государь, вы забываетесь! — взвизгнул Абогин. — За такие слова... бьют! Понимаете?

Абогин торопливо полез к боковой карман, вытащил оттуда бумажник и, достав две бумажки, швырнул их на стол.

— Вот вам за ваш визит! — сказал он, шевеля ноздрями. — Вам заплачено!

— Не смеете вы предлагать мне деньги! — крикнул доктор и смахнул со стола на пол бумажки. — За оскорбление деньгами не платят!

Абогин и доктор стояли лицом к лицу и в гнев продолжали наносить друг другу незаслуженные оскорбления. Кажется, никогда в жизни, даже в бреду, они не сказали столько несправедливого, жестокого и нелепого. В обоих сильно сказался эгоизм несчастных. Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга. Не соединяет, а разъединяет людей несчастье, и даже там, где, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, проделывается гораздо больше несправедливостей и жестокостей, чем в среде сравнительно довольной.

— Извольте отправить меня домой! — крикнул доктор, задыхаясь.

Абогин резко позвонил. Когда на его зов никто не явился, он еще раз позвонил и сердито швырнул колокольчик на пол; тот глухо ударился о ковер и издал жалобный, точно предсмертный стон. Явился лакей.

— Где вы спрятались, чёрт бы вас взял?! — набросился на него хозяин, сжимая кулаки. — Где ты был сейчас? Пошел, скажи, чтобы этому господину подали коляску, а для меня вели заложить карету! Постой! — крикнул он, когда лакей повернулся уходить. — Завтра чтоб ни одного предателя не оставалось в доме! Все вон! Нанимаю новых! Гадины!

В ожидании экипажей Абогин и доктор молчали. К первому уже вернулись и выражение сытости и тонкое изящество. Он шагал по гостинной, изящно встряхивал головой и, очевидно, что-то замышлял. Гнев его еще не остыл, но он старался показывать вид, что не замечает своего врага... Доктор же стоял, держался одной рукой о край стола и глядел на Абогина с тем глубоким, несколько циничным и некрасивым презрением, с каким умеют глядеть только горе и бездолье, когда видят перед собой сытость и изящество.

Когда немного погодя доктор сел в коляску и поехал, глаза его всё еще продолжали глядеть презрительно. Было темно, гораздо темнее, чем час тому назад. Красный полумесяц уже ушел за холм, и сторожившие его тучи темными пятнами лежали около звезд. Карета с красными огнями застучала по дороге и перегнала доктора. Это ехал Абогин протестовать, делать глупости...

Всю дорогу доктор думал не о жене, не об Андрее, а об Абогине и людях, живших в доме, который он только что оставил. Мысли его были несправедливы и нечеловечно жестоки. Осудил он и Абогина, и его жену, и Папчинского, и всех, живущих в розовом полумраке и пахнущих духами, и всю дорогу ненавидел их презирал до боли в сердце. И в уме его сложилось крепкое убеждение об этих людях.

Пройдет время, пройдет и горе Кирилова, но это убеждение, несправедливое, недостойное человеческого сердца, не пройдет и останется в уме доктора до самой могилы.

ДЕНЬ ЗА ГОРОДОМ

Девятый час утра.

Навстречу солнцу ползет темная свинцовая громада. На ней то там, то сям красными зигзагами мелькает молния. Слышны далекие раскаты грома. Теплый ветер гуляет по траве, гнет деревья и поднимает пыль. Сейчас брызнет майский дождь и начнется настоящая гроза.

По селу бегают шестилетняя нищенка Фекла и ищет сапожника Терентия. Беловолосая, босоногая девочка бледна. Глаза ее расширены, губы дрожат.

- Дяденька, где Терентий?- спрашивает она каждого встречного. Никто не отвечает. Все заняты приближающейся грозой и прячутся в избы. Наконец встречается ей пономарь Силантий Силыч, друг и приятель Терентия. Он идет и шатается от ветра.

- Дяденька, где Терентий?

- На огородах,- отвечает Силантий.

Нищенка бежит за избы на огороды и находит там Терентия. Сапожник Терентий, высокий старик с рябым худощавым лицом и с очень длинными ногами, босой и одетый в порванную женину кофту, стоит около грядок и пьяными, посоловелыми глазками глядит на темную тучу. На своих длинных, точно журавлиных, ногах он покачивается от ветра, как скворечня.

- Дядя Терентий!- обращается к нему беловолосая нищенка.- Дяденька, родненький!

Терентий нагибается к Фекле. и его пьяное суровое лицо покрывается улыбкой, какая бывает на лицах людей, когда они видят перед собой что-нибудь маленькое, глупенькое, смешное, но горячо любимое.

- А-аа... раба божия Фекла!- говорит он, нежно сюсюкая.- Откуда Бог принес?

- Дяденька Терентий,- всхлипывает Фекла, дергая сапожника за полу.- С братцем Данилкой беда приключилась! Пойдем!

- Какая такая беда? У-ух, какой гром! Свят, свят, свят... Какая беда?

- В графской роще Данилка засунул в дупло руку и вытащить теперь не может. Поди, дяденька, вынь ему руку, сделай милость!

- Как же это он руку засунул? Зачем?

- Хотел достать мне из дупла кукушечье яйцо.

- Не успел еще день начаться, а у вас уже горе...крутит головой Терентий, медленно сплевывая.- Ну, что ж мне таперя с тобой делать? Надо идтить... Надо, волк вас заешь, баловников! Пойдем, сирота!

Терентий идет с огорода и, высоко поднимая свои длинные ноги, начинает шагать вдоль по улице. Он идет быстро, не глядя по сторонам и не останавливаясь, точно его пихают сзади или пугают погоней. За ним едва поспевают нищенка Фекла.

Путники выходят из деревни и по пыльной дороге направляются к синюющей вдали графской роще. К ней версты две будет. А тучи уже заволокли солнце, и скоро на небе не останется ни одного голубого местечка. Темнеет.

- Свят, свят, свят,- шепчет Фекла, спеша за Терентием.

Первые брызги, крупные и тяжелые, черными точками ложатся на пыльную дорогу. Большая капля падает на щеку Феклы и ползет слезой к подбородку.

- Дождь начался!- бормочет сапожник, взбудораживая пыль своими босыми костистыми ногами. Это слава Богу, брат Фекла. Дождиком трава и деревья питаются, как мы хлебом. А в рассуждении грома ты не бойся, сиротка. За что тебя этакую махонькую убивать?

Ветер, когда пошел дождь, утихает. Шумит только дождь, стуча, как мелкая дробь, по молодой ржи и сухой дороге.

- Измокнем мы с тобой, Феклушка!- бормочет Терентий.- Сухого места не останется... Хо-хо, брат! За шею потекло! Но ты не бойся, дура... Трава высохнет, земля высохнет, и мы с тобой высохнем. Солнце одно для всех.

Над головами путников сверкает молния сажени в две длины. Раздается раскатистый удар, и Фекле кажется, что что-то большое, тяжелое и словно круглое катится по небу и прорывает небо над самой ее головой!

- Свят, свят, свят...- крестится Терентий.- Не бойся, сиротка! Не по злобе гремит.

Ноги сапожника и Феклы покрываются кусками тяжелой мокрой глины. Идти тяжело, скользко, но Терентий шагает все быстрее и быстрее... Маленькая слабосильная нищая задыхается и чуть не падает.

Но вот наконец входят они в графскую рощу. Омытые деревья, потревоженные налетевшим порывом ветра, сыплют на них целый поток брызгов. Терентий спотыкается о пни и начинает идти тише.

- Где же тут Данилка?- спрашивает он.- Веди к нему!

Фекла ведет его в чашу и, пройдя с четверть версты, указывает ему на брата Данилку. Ее брат, маленький восьмилетний мальчик с рыжей, как охра, головой и бледным, болезненным лицом, стоит, прислонившись к дереву, и, склонив голову набок, косится на небо. Одна рука его придерживает поношенную шапчонку, другая спрятана в дупле старой липы. Мальчик всматривается в гремящее небо и, по-видимому, не замечает своей беды. Заслышав шаги и увидев сапожника, он болезненно улыбается и говорит:

- Страсть какой гром, Терентий! Отродясь такого грома не было...

- А рука твоя где?

- В дупле... Вынь, сделай милость, Терентий!

Край дупла надломился и ущемил руку Данилы: дальше просунуть можно, а двинуть назад никак нельзя. Терентий надламывает отломок, и рука мальчика, красная и помятая, освобождается.

- Страсть как гремит!- повторяет мальчик, почесывая руку.- А отчего это гремит, Терентий?

- Туча на тучу надвигается...- говорит сапожник.

Путники выходят из рощи и идут по опушке к чернеющей дороге. Гром мало-помалу утихает, и раскаты его слышатся уже издалека, со стороны деревни.

- Тут, Терентий, наемни утки пролетели...- говорит Данилка, все еще почесывая руку.- Должно, в Гнилых Займищах на болотах сядут. Фекла, хочешь, я тебе соловьиное гнездо покажу?

- Не трогай, потревожишь...- говорит Терентий, выжимая из своей шапки воду.- Соловей птица певчая, безгрешная... Ему голос такой в горле даден, чтоб Бога хвалить и человека увеселять. Грешно его тревожить.

- А воробья?

- Воробья можно, злая птица, ехидная. Мысли у него в голове, словно у жулика. не любит, чтоб человеку было хорошо. Когда Христа распинали, он жидам гвозди носил и кричал: "Жив! жив!"

На небе показывается светло-голубое пятно.

- Погляди-кось!- говорит Терентий.- Муравейник разрыло! Затопило шельмов этаких!

Путники нагибаются над муравейником. Ливень размыл жилище муравьев: насекомые встревоженно снуют по грязи и хлопочут около своих утонувших сожителей.

- Ништо вам, не околеете!- ухмыляется сапожник. Как только солнышко пригреет, и придете в чувство... Это вам, дуракам, наука. В другой раз не будете селиться на низком месте...

Идут дальше.

- А вот и пчелы!- вскрикивает Данилка, указывая на ветку молодого дуба.

На этой ветке, тесно прижавшись друг к другу, сидят измокшие и озябшие пчелы. Их так много, что из-за них не видно ни коры, ни листьев. Многие сидят друг на друге.

- Это пчелиный рой,- учит Терентий.- Он летал и искал себе жилья, а как дождь-то брызнул на него, он и присел. Ежели рой летит, то нужно только водой на него брызгнуть, чтоб он сел. Таперя, скажем, ежели захочешь их забрать, то опусти ветку с ними в мешок, потряси, они все и попадают.

Маленькая Фекла вдруг морщится и сильно чешет себе шею. Брат глядит на ее шею и видит на ней большой волдырь.

- Ге-ге!- смеется сапожник.- Знаешь ты, брат Фекла, откуда у тебя эта напасть? В роще где-нибудь на дереве сидят шпанские мухи. Вода текла с них и капнула тебе на шею - оттого и волдырь.

Солнце показывается из-за облаков и заливаает лес, поле и наших путников греющим светом. Темная, грозная туча ушла уже далеко и унесла с собою грозу. Воздух становится тепел и пахуч. Пахнет черемухой, медовой кашкой и ландышами.

- Это зелье дают, когда из носа кровь идет,- говорит Терентий, указывая на мохнатый цветок.- Помогает...

Слышится свист и гром, но не тот гром, который только что унесли с собой тучи. Перед глазами Терентия, Данилы и Феклы мчится товарный поезд. Локомотив, пыхтя и дыша черным дымом, тащит за собой больше двадцати вагонов. Сила у него необыкновенная. Детям интересно бы знать, как это локомотив, не живой и без помощи лошадей, может двигаться и тащить такую тяжесть, и Терентий берется объяснять им это:

- Тут, ребята, вся штука в паре... Пар действует... Он, стало быть, прет под эту штуку, что около колес, а оно и тово... этого... и действует...

Путники проходят через полотно железной дороги и затем, спустившись с насыпи, идут к реке. Идут они не за делом, а куда глаза глядят, и всю дорогу разговаривают. Данила спрашивает, Терентий отвечает...

Терентий отвечает на все вопросы, и нет в природе той тайны, которая могла бы поставить его в тупик. Он знает все. Так, он знает названия всех полевых трав, животных и камней. Он знает, какими травами лечат болезни, не затруднится узнать, сколько лошади или корове лет. Глядя на заход солнца, на луну, на птиц, он может сказать, какая завтра будет погода. Да и не один Терентий так разумен. Силантий Силыч, кабатчик, огородник, пастух, вообще вся деревня, знают столько же, сколько и он. Учились эти люди не по книгам, а в поле, в лесу, на берегу реки. Учили их сами птицы, когда пели им песни, солнце, когда, заходя, оставляло после себя багровую зарю, сами деревья и травы.

Данилка глядит на Терентия и с жадностью вникает в каждое его слово. Весной, когда еще не надоели тепло и однообразия зелень полей, когда все ново и дышит свежестью, кому не интересно слушать про золотистых майских жуков, про журавлей, про колосющийся хлеб и журчащие ручьи?

Оба, сапожник и сирота, идут по полю, говорят без умолку и не утомляются. Они без конца бы ходили по белу свету. Идут они и в разговорах про красоту земли не замечают, что за ними следом семенит маленькая, тщедушная нищенка. Она тяжело ступает и задыхается. Слезы повисли на ее глазах. Она рада бы оставить этих неутомимых странников, но куда и к кому может она уйти? У нее нет ни дома, ни родных. Хочешь не хочешь, а иди и слушай разговоры.

Перед полуднем все трое садятся на берегу реки. Данила вынимает из мешка кусок измокшего, превратившегося в кашу хлеба, и путники начинают есть. Закусив хлебом, Терентий молится Богу, потом растягивается на песчаном берегу и засыпает. Пока он спит, мальчик глядит на воду и думает. Много у него разных дум. Недавно он видел грозу, пчел, муравьев, поезд, теперь же перед его глазами суется рыбешки. Одни рыбки с вершок и больше, другие не длиннее ногтя. От одного берега к другому, подняв вверх голову, проплывает гадюка.

Только к вечеру наши странники возвращаются в деревню. Дети идут на ночлег в заброшенный сарай, где прежде ссыпался общественный хлеб, а Терентий, простившись с ними, направляется к кабаку. Прижавшись друг к другу, дети лежат на соломе и дремлют.

Мальчик не спит. Он смотрит в темноту, и ему кажется, что он видит все, что видел днем: тучи, яркое солнце, птиц, рыбешек, долговязого Терентия. Изобилие впечатлений, утомление и голод берут свое. Он горит, как в огне, и ворочается с боку на бок. Ему хочется высказать кому-нибудь все то, что теперь мерещится ему в потемках и волнует душу, но высказать некому. Фекла еще мала и не понять ей.

"Ужо завтра Терентию расскажу..." - думает мальчик.

Засыпают дети, думая о бесприютном сапожнике. А ночью приходит к ним Терентий, крестит их и кладет им под головы хлеба. И такую любовь не видит никто. Видит ее разве одна только луна, которая плывет по небу и ласково, сквозь дырявую стреху, заглядывает в заброшенный сарай.

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ

На самом краю села Мироносицкого, в сарае старосты Прокофия расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое: ветеринарный врач Иван Иваныч и учитель гимназии Буркин. У Ивана Иваныча была довольно странная, двойная фамилия — Чимша-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по имени и отчеству; он жил около города на конском заводе и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком.

Не спали. Иван Иваныч, высокий, худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках.

Рассказывали разные истории. Между прочим говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и не глупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние десять лет всё сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.

— Что же тут удивительного! — сказал Буркин. — Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете не мало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге, а может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера, — кто знает? Я не естественник и не мое дело касаться подобных вопросов; я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление не редкое. Да вот, недалеко искать, месяца два назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши, и когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике; и лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было; и древние языки, которые он преподавал, были для него, в сущности, те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.

— О, как звучен, как прекрасен греческий язык! — говорил он со сладким выражением; и, как бы в доказательство своих слов, прищурился и подняв палец, произносил: — Антропос!

И мысль свою Беликов также старался запрятать в футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после девяти часов вечера или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь, то это было для него ясно, определено; запрещено — и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо:

— Оно, конечно, так-то так, всё это прекрасно, да как бы чего не вышло.

Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он

очень волновался и всё говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своею осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот-де в мужской и женской гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах, — ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло, — и что если б из второго класса исключить Петрова, а из четвертого — Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном, маленьком лице, — знаете, маленьком лице, как у хорька, — он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову балл по поведению, сажали их под арест и в конце концов исключали и Петрова, и Егорова. Было у него странное обыкновение — ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит и как будто что-то высматривает. Посидит, этак, молча, час-другой и уйдет. Это называлось у него «поддерживать добрые отношения с товарищами», и, очевидно, ходить к нам и сидеть было для него тяжело, и ходил он к нам только потому, что считал своею товарищескою обязанностью. Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя народ всё мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на Тургеневе и Щедрина, однако же этот человек, ходивший всегда в калошах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет! Да что гимназию? Весь город! Наши дамы по субботам домашних спектаклей не устраивали, боялись, как бы он не узнал; и духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в карты. Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние десять — пятнадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Боятся громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, боятся помогать бедным, учить грамоте...

Иван Иваныч, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на луну и потом уже сказал с расстановкой:

— Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели... То-то вот оно и есть.

— Беликов жил в том же доме, где и я, — продолжал Буркин, — в том же этаже, дверь против двери, мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история: халат, колпак, ставни, задвижки, целый ряд всяких запрещений, ограничений, и — ах, как бы чего не вышло! Постное есть вредно, а скоромное нельзя, так как, пожалуй, скажут, что Беликов не исполняет постов, и он ел судака на коровьем масле, — пища не постная, но и нельзя сказать, чтобы скоромная. Женской прислуги он не держал из страха, чтобы о нем не думали дурно, а держал повара Афанасия, старика лет шестидесяти, нетрезвого и полоумного, который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери, скрестив руки, и всегда бормотал одно и то же, с глубоким вздохом:

— Много уж их нынче развелось!

Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой; было жарко, душно, в закрытые двери стучался ветер, в печке гудело; слышались вздохи из кухни, вздохи зловещие...

И ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезал Афанасий, как бы не забрались воры, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, было тяжело.

— Очень уж шумят у нас в классах, — говорил он, как бы стараясь отыскать объяснения своему тяжелому чувству. — Ни на что не похоже.

И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился.

Иван Иванович быстро оглянулся в сарай и сказал:

— Шутите!

— Да, едва не женился, как это ни странно. Назначили к нам нового учителя истории и географии, некоего Коваленко, Михаила Саввича, из хохлов. Приехал он не один, а с сестрой Варенькой. Он молодой, высокий, смуглый, с громадными руками, и по лицу видно, что говорит басом, и в самом деле, голос как из бочки: бу-бу-бу... А она уже не молодая, лет тридцати, но тоже высокая, стройная, чернобровая, краснощекая, — одним словом, не девица, а мармелад, и такая разбитная, шумная, всё поет малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальется голосистым смехом: ха-ха-ха! Первое, основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряженно скучных педагогов, которые и на именины-то ходят по обязанности, вдруг видим, новая Афродита возродилась из пены: ходит подбоченясь, хохочет, поет, пляшет... Она спела с чувством «Виют витры», потом еще романс, и еще, и всех нас очаровала, — всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь:

— Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает древнегреческий.

Это польстило ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадячском уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки! У хохлов тыквы называются кабаками, а кабаки шинками, и варят у них борщ с красненькими и с синенькими «такой вкусный, такой вкусный, что просто — ужас!»

Слушали мы, слушали, и вдруг всех нас осенила одна и та же мысль.

— А хорошо бы их поженить, — тихо сказала мне директорша.

Мы все почему-то вспомнили, что наш Беликов не женат, и нам теперь казалось странным, что мы до сих пор как-то не замечали, совершенно упускали из виду такую важную подробность в его жизни. Как вообще он относится к женщине, как он решает для себя этот насущный вопрос? Раньше это не интересовало нас вовсе; быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в калошах и спит под пологом, может любить.

— Ему давно уже за сорок, а ей тридцать... — пояснила свою мысль директорша. — Мне кажется, она бы за него пошла.

Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берет в театре ложу, и смотрим — в ее ложе сидит Варенька с этаким веером, сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтобы я непременно пригласил и Беликова и Вареньку. Одним словом, заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж. Жить ей у брата было не очень-то весело, только и знали, что по целым дням спорили и ругались. Вот вам сцена: идет Коваленко по улице, высокий, здоровый верзила, в вышитой сорочке, чуб из-под фуражки падает на лоб; в одной руке пачка книг, в другой толстая суковатая палка. За ним идет сестра, тоже с книгами.

— Да ты же, Михайлик, этого не читал! — спорит она громко. — Я же тебе говорю, клянусь, ты не читал же этого вовсе!

— А я тебе говорю, что читал! — кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару.

— Ах же, Боже ж мой, Минчик! Чего же ты сердишься, ведь у нас же разговор принципиальный.

— А я тебе говорю, что я читал! — кричит еще громче Коваленко.

А дома, как кто посторонний, так и перепалка. Такая жизнь, вероятно, наскучила, хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание; тут уж перебирать некогда, выйдешь за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого ни выйти, лишь бы выйти. Как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность.

А Беликов? Он и к Коваленку ходил так же, как к нам. Придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему «Виют витры», или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется:

— Ха-ха-ха!

В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль. Все — и товарищи, и дамы — стали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остается в жизни, как жениться; все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того-де, что брак есть шаг серьезный; к тому же Варенька была недурна собой, интересна, она была дочь статского советника и имела хутор, а главное, это была первая женщина, которая отнеслась к нему ласково, сердечно, — голова у него закружилась, и он решил, что ему в самом деле нужно жениться.

— Вот тут бы и отобрать у него калоши и зонтик, — проговорил Иван Иваныч.

— Представьте, это оказалось невозможным. Он поставил у себя на столе портрет Вареньки и всё ходил ко мне и говорил о Вареньке, о семейной жизни, о том, что брак есть шаг серьезный, часто бывал у Коваленков, но образа жизни не изменил нисколько. Даже наоборот, решение жениться подействовало на него как-то болезненно, он похудел, побледнел и, казалось, еще глубже ушел в свой футляр.

— Варвара Саввишна мне нравится. — говорил он мне со слабой кривой улыбочкой. — и я знаю, жениться необходимо каждому человеку, но... всё это, знаете ли, произошло как-то вдруг... Надо подумать.

— Что же тут думать? — говорю ему. — Женитесь, вот и всё.

— Нет, женитьба — шаг серьезный, надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность... чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь все ночи не сплю. И, признаться, я боюсь: у нее с братом какой-то странный образ мыслей, рассуждают они как-то, знаете ли, странно, и характер очень бойкий. Женишься, а потом, чего доброго, попадешь в какую-нибудь историю.

И он не делал предложения, всё откладывал, к великой досаде директорши и всех наших дам: всё взвешивал предстоящие обязанности и ответственность, и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может, думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни. И, по всей вероятности, в конце концов он сделал бы предложение и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, каких у нас от скуки и от нечего делать совершаются тысячи, если бы вдруг не произошел kolossalische Skandal. Нужно сказать, что брат Вареньки, Коваленко, возненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог.

— Не понимаю, — говорил он нам, пожимая плечами. — не понимаю, как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чиновники, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке. Нет, братцы, поживу с вами еще немного и уеду к себе на хутор, и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим Иудой, нехай вин лопне.

Или он хохотал, хохотал до слез, то басом, то тонким писклявым голосом, и спрашивал меня, разводя руками:

— Шо он у меня сидить? Шо ему надо? Сидить и смотреть.

Он даже название дал Беликову «глитай абож паук». И, понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за «абож паука». И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал:

— Не мое это дело. Пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться.

Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру: идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька; внизу подпись: «влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, проработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназий, учителя семинарии, чиновники, — все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.

Выходим мы вместе из дому, — это было как раз первое мая, воскресенье, и мы все, учителя и гимназисты, условились сойтись у гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу, — выходим мы, а он зеленый, мрачнее тучи.

— Какие есть нехорошие, злые люди! — проговорил он, и губы у него задрожали.

Мне даже жалко его стало. Идем, и вдруг, можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая, радостная.

— А мы, — кричит она, — вперед едем! Уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужас!

И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня...

— Позвольте, что же это такое? — спросил он. — Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?

— Что же тут неприличного? — сказал я. — И пусть катаются себе на здоровье.

— Да как же можно? — крикнул он, изумляясь моему спокойствию. — Что вы говорите?!

И он был так поражен, что не захотел идти дальше и вернулся домой.

На другой день он всё время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. И с занятий ушел, что случилось с ним первый раз в жизни. И не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплелся к Коваленкам. Вареньки не было дома, застал он только брата.

— Садитесь, покорнейше прошу, — проговорил Коваленко холодно и нахмурил брови; лицо у него было заспанное, он только что отдыхал после обеда и был сильно не в духе.

Беликов посидел молча минут десять и начал:

— Я к вам пришел, чтоб облегчить душу. Мне очень, очень тяжело. Какой-то пасквилянт нарисовал в смешном виде меня и еще одну особу, нам обоим близкую. Считаю долгом уверить вас, что я тут ни при чем... Я не подавал никакого повода к такой насмешке, — напротив же, всё время вел себя как вполне порядочный человек.

Коваленко сидел, надувшись, и молчал. Беликов подождал немного и продолжал тихо, печальным голосом:

— И еще я имею кое-что сказать вам. Я давно служу, вы же только еще начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ, предостеречь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а эта забава совершенно неприлична для воспитателя юношества.

— Почему же? — спросил Коваленко басом.

— Да разве тут надо еще объяснять, Михаил Саввич, разве это не понятно? Если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Им остается только ходить на головах! И раз это не разрешено циркулярно, то и нельзя. Я вчера ужаснулся! Когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде — это ужасно!

— Что же собственно вам угодно?

— Мне угодно только одно — предостеречь вас, Михаил Саввич. Вы — человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя очень, очень осторожно, вы же так манкируете, ох, как манкируете! Вы ходите в вышитой сорочке, постоянно на улице с какими-то книгами, а теперь вот еще велосипед. О том, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдет до попечителя... Что же хорошего?

— Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела! — сказал Коваленко и побагровел. — А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим.

Беликов побледнел и встал.

— Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать. — сказал он. — И прошу вас никогда так не выражаться в моем присутствии о начальниках. Вы должны с уважением относиться к властям.

— А разве я говорил что дурное про властей? — спросил Коваленко, глядя на него со злобой. — Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я честный человек и с таким господином, как вы, не желаю разговаривать. Я не люблю фискалов.

Беликов нервно засуетился и стал одеваться быстро, с выражением ужаса на лице. Ведь это первый раз в жизни он слышал такие грубости.

— Можете говорить, что вам угодно, — сказал он, выходя из передней на площадку лестницы. — Я должен только предупредить вас: быть может, нас слышал кто-нибудь, и, чтобы не перетолковали нашего разговора и чего-нибудь не вышло, я должен буду доложить господину директору содержание нашего разговора... в главных чертах. Я обязан это сделать.

— Доложить? Ступай, докладывай!

Коваленко схватил его сзади за воротник и пихнул, и Беликов покатился вниз по лестнице, гремя своими калошами. Лестница была высокая, крутая, но он докатился донизу благополучно; встал и потрогал себя за нос: целы ли очки? Но как раз в то время, когда он катился по лестнице, вошла Варенька и с нею две дамы; они стояли внизу и глядели — и для Беликова это было ужаснее всего. Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем; ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя, — ах, как бы чего не вышло! — нарисуют новую карикатуру, и кончится всё это тем, что прикажут подать в отставку...

Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом:

— Ха-ха-ха!

И этим раскатистым, залихватым «ха-ха-ха» завершилось всё: и сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал.

Дня через три пришел ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как-де с бариним что-то делается. Я пошел к Беликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал; спросишь его, а он только да или нет — и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него водкой, как из кабака.

Через месяц Беликов умер. Хоронили мы его все, то есть обе гимназии и семинария. Теперь, когда он лежал в гробу, выражение у него было кроткое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр, из которого он уже никогда не выйдет. Да, он достиг своего идеала! И как бы в честь его во время похорон была пасмурная, дождливая погода, и все мы были в калошах и с зонтами. Варенька тоже была на похоронах и, когда гроб опускали в могилу, всплакнула. Я заметил, что хохлушки только плачут или хохочут, среднего же настроения у них не бывает.

Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие. Когда мы возвращались с кладбища, то у нас были скромные постные физиономии; никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия. — чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, еще в детстве, когда старшие уезжали из дому и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полною свободой. Ах, свобода, свобода! Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья, не правда ли?

Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше. И в самом деле, Беликова похоронили, а сколько еще таких человек в футляре осталось, сколько их еще будет!

— То-то вот оно и есть, — сказал Иван Иваныч и закурил трубку.

— Сколько их еще будет! — повторил Буркин.

Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.

— Луна-то, луна! — сказал он, глядя вверх.

Была уже полночь. Направо видно было всё село, длинная улица тянулась далеко, верст на пять. Всё было погружено в тихий, глубокий сон; ни движения, ни звука, даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с ее избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо; в этом своем покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кротка, печальна, прекрасна, и кажется, что и звезды смотрят на нее ласково и с умилением и что зла уже нет на земле и всё благополучно. Налево с края села начиналось поле; оно было видно далеко, до горизонта, и во всю ширь этого поля, залитого лунным светом, тоже ни движения, ни звука.

— То-то вот оно и есть, — повторил Иван Иваныч. — А разве то, что мы живем в городе в духоте, в тесноте, пишем ненужные бумаги, играем в винт — разве это не футляр? А то, что мы проводим всю жизнь среди бездельников, сутяг, глупых, праздных женщин, говорим и слушаем разный вздор — разве это не футляр? Вот если желаете, то я расскажу вам одну очень поучительную историю.

— Нет, уж пора спать, — сказал Буркин. — До завтра!

Оба пошли в сарай и легли на сене. И уже оба укрылись и задремали, как вдруг послышались легкие шаги: туп, туп... Кто-то ходил недалеко от сарая; пройдет немного и остановится, а через минуту опять: туп, туп... Собаки заворчали.

— Это Мавра ходит, — сказал Буркин.

Шаги затихли.

— Видеть и слышать, как лгут, — проговорил Иван Иваныч, поворачиваясь на другой бок, — и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь: сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и всё это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена, — нет, больше жить так невозможно!

— Ну, уж это вы из другой оперы, Иван Иваныч, — сказал учитель. — Давайте спать.

И минут через десять Буркин уже спал. А Иван Иваныч всё ворочался с боку на бок и вздыхал, а потом встал, опять вышел наружу и, севши у дверей, закурил трубочку.